

В.Г. Короленко История моего современника.

Часть вторая

Вышневолоцкая политическая тюрьма

I. Население В.П.Т. — Андриевский, Анненский, Павленков

В то время когда меня привезли в В.П.Т., в ней было около сорока человек, и число заключенных все увеличивалось. Противоправительственное движение росло, росло и сочувствие к нему в обществе, а у самодержавия был один ответ — полицейские репрессии. С осужденными поступали очень сурово. В Белгороде и Борисоглебске, Харьковской губернии, были основаны центрально-каторжные тюрьмы, о порядках которых ходили чудовищные слухи. Люди были точно замурованы: ни переписки, ни свиданий не допускалось. Проводилась система абсолютного одиночества. Обращение тюремщиков было нарочито грубое, непременно на «ты». А так как эта система практиковалась и в то время, когда харьковским генерал-губернатором был Лорис-Меликов, то его возвышение было встречено сомнением и враждой. Выстрел Млодецкого был выражением этих чувств, а немедленная казнь его, казалось, подтверждала усиление репрессий.

Но кроме явных революционеров, осужденных судами, было много «сочувствующих», для суда над которыми не было данных. «Административный порядок» должен был бороться с этим «сочувствием». Жандармский строй изощрялся над реформами в этой области. Уже процесс Засулич показал, как широко разлито это неблагонадежное настроение. Начавшиеся забастовки показывали, что пропаганда начинает проникать в рабочую среду. «Неблагонадежных» всех слоев хватали и высылали. Но это обходилось дорого казне. Придумали усовершенствованные приемы: административную ссылку целыми партиями. Мценская и Вышневолоцкая политическая тюрьмы и были назначены для такой оптовой эвакуации «неблагонадежных».

Одна из таких партий была уже выслана из В. Волочка в Сибирь в прошлом (1879) году. Теперь набирали другую, и я понял, что меня продержат здесь до открытия навигации, после чего отправят в Восточную Сибирь. Оставалось примириться с этой перспективой, как уже примирились мои новые товарищи. Кажется, что в обществе к этому времени водворились «ожидания» и надежды, связанные с назначением Лорис-Меликова, но мы были настроены скептически. В последнее время все «реформы» сводились на технику полицейских мероприятий. Институт жандармов выдвинулся на первый план русской жизни. Основывались новые окружные управления, увеличивались жалования, расширялись штаты, жандармы появились в самых глухих углах. Поэтому если и были теперь новые ожидания со стороны общества и прессы, то нам они казались обычными российскими упованиями, вроде тех, какие когда-то высказал в своей газете покойный Гире по поводу назначения шефом жандармов боевого генерала Дрентельна... Газета получила предостережение, и все осталось по-старому.

Общество, которое я застал в В.П.Т., было довольно разнообразно. Самым старшим и самым солидным из нас был Алексей Александрович Андриевский, педагог, преподаватель русской словесности в одной из одесских гимназий. Он был родной брат моего ровенского учителя словесности Митрофана Александровича, о котором я говорил в первом томе. Это был настоящий педагог, очень серьезно относившийся и к своему учительству, и к своей карьере. Он был дружен с Драгомановым и, очевидно, попал в В.П.Т. именно за эту дружбу. По убеждениям он был ярый украинец, как тогда называли, — украинофил. Заключение он переносил тяжело и пускал в ход все свои связи, чтобы избавиться от ссылки, что в конце концов ему и удалось. У него была заметная складка украинского юмора, и порой он не мог отказать себе в удовольствии писать по тому или другому поводу довольно язвительные отзывы... Смотритель Лаптев относился к нему с почтением и гордился, что под его начальством состоит коллежский советник.

Через несколько дней в нашу камеру, под внимательным руководством самого Лаптева, внесли еще одну кровать.

— Кого это бог нам дает, Ипполит Павлович? — спросили мы у смотрителя.

— Привезут с поездом... надворного советника.

Этот надворный советник оказался Николаем Федоровичем Анненским. Я уже видел его раз, попав на собрание «трезвых философов» — незаконного кружка, группировавшегося около «Отечественных записок». Там кидался в глаза человек лет уже за тридцать, полный, необыкновенно жизнерадостный и веселый. Во время перерывов за ним постоянно следовал хвост молодежи, прислушиваясь к его метким замечаниям, сдобренным постоянными шутками, каламбурами, остротами... В то время он уже приобрел известность своими экономическими статьями. Он все готовился к кафедре, но разные обстоятельства мешали его ученой карьере; пока он занимался литературой и служил в министерстве путей сообщения, куда министр (кажется, Посьет) охотно принимал лиц свободного образа мыслей.

— Вы, конечно, конституционалист, — говорил он одному из кандидатов, — это вашей службе помешать не может. Все просвещенные люди теперь конституционалисты.

Жандармы, конечно, думали иначе и после приказа «не стесняться ни званием, ни состоянием» — произвели атаку на либеральное ведомство. Одной из жертв этой атаки и стал Н. Ф. Анненский.

В нашу камеру он вошел с улыбкой и шуткой на устах и сразу стал всем близким. Какая-то особая привлекательная беззаботность веяла от этого замечательного человека, окружая его как бы светящейся и освещающей атмосферой. К своей служебной карьере он относился насмешливо, как к временному этапу. У него была та бодрая уверенность в собственных силах, которую придают солидные знания и способность к работе. В ссылке он принялся сначала за литературу, а затем стал одним из самых выдающихся орга-

низаторов земской статистики в Казани, а потом в Нижнем, пока не переехал в Петербург, где принял живейшее участие в «Русском богатстве».

Вскоре после его водворения к нам внесли еще одну кровать, уже седьмую, и Ипполит Павлович заявил, что на этот раз прибыл «майор» Павленков. Вид у Лаптева был особенно торжественный.

В тот же день, после вечерней поверки, дверь нашей камеры открылась, и в нее вошел Ипполит Павлович. Он пришел познакомиться с майором. Войдя, он прямо подошел к его койке и, попросив позволения, присел на ближайшую кровать.

Я очень жалею, что не могу воспроизвести эту картину. Друг против друга сидели два человека, представлявшие прямую противоположность. Лаптев, огромный, неуклюжий, с топорным лицом простодушного гиганта, в мундире, застегнутом на все пуговицы, как будто он явился к начальству. И против него — маленький человек в арестантском халате, с мелкими чертами лица и вздернутым носиком. Его живые темные глаза сверкали лукавой усмешкой...

Некоторое время оба молчали и глядели друг на друга. Лаптев начал первый:

— Как же это, господин майор?..

— То есть?..

— То есть... За что же?..

Павленков пожал плечами и усмехнулся.

— Не знаю, — сказал он кратко.

— Ну... может быть, все-таки... хоть догадываетесь?..

— И не догадываюсь, — решительно сказал Павленков и, тотчас же, кинув исподлобья взгляд своих быстрых глаз на смущенное лицо Лаптева, прибавил: — А ведь я знаю, что вы сейчас подумали, господин смотритель.

— Этого не может быть, — сказал Лаптев с сомнением.

— Вы сейчас подумали: вот бывший офицер, отставной майор... А как врет...

С Лаптевым случилось что-то необычайное. Его большие глаза остолбенели, он невольно поднялся с своего сидения и растерянно оглянулся на нас всех.

— Пг'авда, — сказал он с изумлением. — Ей-богу, пг'авда... Извините меня, господин майор, но ей-богу — подумал... И как вы могли угадать...

Впоследствии, когда мы все, свидетели этой сцены, давно оставили В.П.Т. и наши места заняли другие временные жильцы, Лаптев любил показывать места, где у него жил надворный советник и писатель Анненский, другой писатель — Волохов и, наконец, — издатель многих книг, майор Павленков.

— Проницательный человек, — прибавлял он каждый раз, — мысли в душе человека читает, как в открытой книге...

За что, в самом деле, был выслан Павленков? В точности я не знаю, какие доносы поступили на него от филеров и сыщиков, но основную почву составляло, конечно, то, что он был один из неблагонадежнейших издателей.

Молодой офицер во времена Добролюбова и Писарева бросает военную службу и приступает к изданию книг. Для него это был, несомненно, не способ заработка (хотя и в этом отношении он вел свои дела очень практично), но также и «дело идеи». Я помню, одну лекцию в Историческом музее в Москве, где лектор, излагая учение известного астрофизика аббата Секки, привел параллельно места из его книги «Единство физических сил» и русского перевода этой книги, изданного Павленковым. В переводе оказались исключенными все места, где автор, замечательный ученый, но вместе иезуитский аббат, допускал непосредственное влияние божества на основные свойства материи, как тяготение. Когда я передал об этой лекции Павленкову, он усмехнулся и сказал: «Еще бы! Стану я распространять иезуитскую софистику».

С энергией, с настойчивостью, с присущим ему необыкновенным лукавством, в целом ряде изданий он старался провести известное мировоззрение, так что изданная им библиотека представляла в этом отношении известную цельность. Цензура не могла справиться с этим: он умел ее обойти — где взяткой, где просто лукавством. При издании сочинений Писарева цензура уничтожила одну статью, а издателя постановила привлечь к суду. В промежутке между конфискацией книги и судом Павленков успел съездить в Москву, представил в московскую цензуру запрещенную статью Писарева и... получил разрешение. На суде цензурное ведомство оказалось в глупейшем положении: в Петербурге судят за то, что в Москве одобряет цензура. Суд оправдал Павленкова, но постановил уничтожить самую статью. Павленков привел на гласный суд стенографа, который записал прения. Прокурор цитировал ту часть статьи, которая подавала повод к обвинению. Защитник привел обширные цитаты из других ее частей. Таким образом, почти вся статья цитировалась в прениях, а так как процессы гласного суда тогда печатались, то Павленков ввел стенографический отчет в последний том издания. Судебное преследование не помешало появлению статьи, а только содействовало ее огласке.

Помню еще такой случай: Павленков издал какую-то азбуку с книжкой для начального чтения, которую цензура тотчас же конфисковала. Известие о «неблагонадежной азбуке» тотчас же распространилось среди молодежи, и книжечка стала ходить по рукам нелегальным образом. Затем Павленков заказал предисловие, автор которого жестоко разносил изданную им азбуку и предлагал вместо критикуемой книжки для первоначального обучения свою. Цензура пропустила книжку, не заметив, что к этому предисловию был приложен... тот же запрещенный ею текст... Павленкову оставалось только устранить предисловие, на что он имел законное право, а книжку пустить в продажу с большим успехом, так как его проделка стала опять широко известна. На этот раз цензура не рискнула вторичным процессом.

Вся его издательская деятельность прошла в такой борьбе с цензурой. Конечно, все это было неуловимо для точной законной квалификации. Нельзя же было каркать человека по закону за то, что цензора глупы или продаж-

ны. Но административный порядок с его «неблагонадежностью» — дело другое. Павленков сначала был выслан в Вятку.

Здесь он опять ухитрился издать сборник под названием «Вятская незабудка», для которого соединил литературные силы ссыльных. Сборник был ярко обличительный, имел громадный успех не только на месте, но и на общем книжном рынке и опять причинил много хлопот цензуре.

Здесь же с Павленковым случился очень характерный для него эпизод. Он получил из столицы известие, которое призывало его в Петербург недели на две. Добиться отпуска из ссылки не было никакой надежды. Приходилось опять пуститься на хитрость.

В то время в Вятке существовал уже особый порядок надзора: ссыльные обязаны были являться ежедневно и расписываться в полицейском управлении. С Павленковым все-таки поцеремонились: он сказался больным, и к нему посылали полицейского на квартиру. Павленков — сумел добиться и еще одной уступки: полицейский не являлся к нему лично, а справлялся у хозяйки. Павленков облегчил ему этот надзор: его квартира была во втором этаже, и окна ее выходили на улицу. Каждый вечер в определенные часы Павленков прогуливался по своей комнате, и его тень размеренно мелькала на освещенных лампою шторах. С некоторых пор хозяйка — кстати сказать, очень преданная своему неблагонадежному жильцу — сообщила полицейскому, что Павленков нездоров, очень раздражителен и даже ей не позволяет без крайней надобности входить в его комнаты. Но все-таки в определенные часы силуэт поднадзорного появлялся на освещенных шторах к полному удовлетворению полицейского.

Так прошла неделя. Павленков был в Петербурге, а на шторах появлялся силуэт хозяйкина сына, обвязанного, «в виду болезни», шарфами. У полицейского явились все-таки подозрения. Он стал беспокойно приставать к хозяйке и наконец потребовал, чтобы она допустила его к жильцу. Та отговаривалась под разными предлогами, а сама в это время послала в Петербург условную телеграмму. Полицейский еще дня три довольствовался созерцанием силуэта на окне, но его подозрения и беспокойство росли и принимали все более осязательные формы. Он стал настоятельно требовать свидания. Положение обострилось. Наконец полицейский потерял терпение и, устранив после некоторого шума хозяйку, бросился наверх по лестнице, громко требуя, чтобы Павленков ему показался. Он был уже на верхних ступеньках, когда дверь вдруг открылась, и на пороге показался... Павленков.

— Что вы тут дебоширите!.. Вон! Я пожалуюсь губернатору!

Ошеломленный полицейский чуть не кубарем скатился с лестницы. Только за полчаса перед тем в сумерки Павленков вернулся и незаметно пробрался в квартиру. Этот эпизод Павленков охотно рассказывал, и при этом воспоминании его живые глазки сверкали удовольствием.

Благодаря разносторонним связям и настойчивости ему удалось освободиться из-под надзора и вернуться в Петербург. Жандармы имели удовольствие увидеть его опять с теми же мефистофельскими приемами относительно цензуры и... с «Вятской незабудкой», на которую из Вятки летели

жалобы: неблагонадежные ссыльные жестоко высмеивали в сборнике благонамеренную вятскую администрацию. Это наконец надоело, и Павленков очутился в В.П.Т. Мог ли он точно ответить на вопрос Ипполита Павловича Лаптева, за что его высылают?..

Он был «сочувствующий» — это несомненно. Однажды в нашей камере затеялся разговор о том, что можно делать для политического развития России, кроме террора. Я продолжал доказывать, что необходимо поднять уровень сознания в народе, что для этого необходимо идти с широкой проповедью культуры со стороны мирной интеллигенции и нелегально проводить только политические взгляды о необходимости изменения строя. Павленков резко возразил: просвещение подавляется, учитель превращен в казенную машину для обучения азбуке, а нелегальная идейная работа требует совершенно «сверхсметных» качеств со стороны пропагандистов. Остается только один путь. Это — террор.

Меня поразило тогда решительный тон, прозвучавший в этом возражении. Вообще мягкий и слабый голос Павленкова звучал какими-то гневными нотами. Большинство собеседников с ним соглашалось. Это носилось в воздухе... Это была сила вещей.

II. История Пеги Попова

Одной из самых оригинальных фигур среди интеллигентной молодежи, наполнявшей тогда камеры В.П.Т., представляется мне Петр Зосимович Попов, которого все мы называли попросту Петей Поповым. Родом он был из Петрозаводска, где учился в одной гимназии с моим зятем, Лошкаревым. Я познакомился с ним еще на воле, и мы вместе ходили на Петербургскую сторону к П. А. Лебеву, мастеру патронного завода, где пытались изучать слесарное дело.

В то время (1879 год) ему шел двадцать первый год. В его наружности не было никаких внешних признаков «интеллигента». Небрежно одетый, в простой блузе, он скорее походил на фабричного мальчишку, чем на студента Медико-хирургической академии... Только разговорившись с этим простоватым на вид юношей, можно было заметить, что под невзрачной наружностью скрывается незаурядная и чрезвычайно оригинальная личность.

Есть у Щедрина рассказ «Непокорный Коронат». Сын священника не хочет идти по стопам родителя, а желает пахать землю. Впоследствии желание вымышленного щедринского героя оказалось до такой степени нецензурным, что уже в отдельном издании этот юноша превратился в «непочтительного Короната», сына кузины Машеньки, и непочтительность его смягчена: он уже стремится не к землепашеству, а только желает сменить выбранную маменькой юридическую карьеру на карьеру медика. Сыну почтенных родителей даже в беллетристическом рассказе не полагалось пахать землю, как мужику...

А между тем такое стремление было у очень многих молодых людей моего поколения, и, может быть, это-то и казалось опасным. Сначала пашня,

а потом пропаганда. Между тем целые годы народническо-литературной проповеди не прошли даром, и стремление просто зажить трудовой жизнью, опроститься, даже без сторонних целей, — уже тогда сказывалось у многих, и Петя Попов был одним из таких юношей. Он говорил совершенно откровенно, что убеждения его еще не сложились, что он не считает себя революционером, а только хочет сделать опыт, — сможет ли он жить трудовой жизнью, так как его не манит ни одна из интеллигентных профессий. При этом было что-то в его характере, что очень быстро сближало его именно с простыми людьми. Он не имел в виду ни учителя, ни пропаганды: ему только хотелось жить жизнью трудового народа, в одинаковых с ним условиях... Для этого он решил поступить на одну из петербургских фабрик.

Познакомившись с кружком молодых рабочих, кажется, патронного завода и, по обыкновению, скоро сойдясь с ними на товарищескую ногу, он устроился на заводе, причем рабочие на первое время, не без ведома мастера, помогали ему исполнять уроки. В то время он был студент Медико-хирургической академии и этого, конечно, от рабочих не скрывал. Держался он с ними просто, как сверстник и товарищ. По праздникам они вместе ходили в театр и досуги проводили за чтением. Чтение, конечно, бывало всякое: кружок уже был отчасти затронут начинавшимся тогда брожением. Петя Попов был не пропагандистом, а только членом кружка рабочих, совместно старавшихся решить поставленные временем вопросы. В это время я виделся с ним редко, но когда мы виделись, он с увлечением рассказывал о жизни в новой среде. Революционером себя по-прежнему не считал и решительно отклонял всякие «партийные поручения»

Чем кончился бы для него этот опыт — сказать трудно. Но — почва для таких «Коронатов» была тогда скользкая. Щедринский Коронат (в первой редакции) тоже скоро узнал все неудобство для сына привилегированных родителей заниматься непривилегированным делом. Узнал это на опыте и Петя Попов. Кружок рабочих, проводящих досуги не в пьянстве, а в совместном чтении, навлек на себя донос и обратил внимание жандармов. В один день, когда товарищи были на заводе, а Петя оставался на квартире один вследствие нездоровья, он увидел в окно полицию и понятых. Догадавшись, что это идут к ним, он успел взять в руки невинную брошюрку «Сельцо Отрадное», и неожиданные посетители застали его погруженным в чтение. Он был моложав не по возрасту и имел вид рабочего парня, по складам разбирающего печатное.

На этом он основал план защиты и разыграл свою роль так искусно, что, даже найдя кое-что нелегальное, обыскивавший жандарм поверил всему, что ему рассказал «простоватый паренек»: нелегальщину принес молодой господин...

— В очках и пледе? — проницательно вставил жандарм.

— Да, в очках и пледе, и приказал непременно прочитать. Но читать его книги скучновато — «Сельцо Отрадное» много занятнее...

В эту минуту вернулись с завода товарищи. Попов кинулся им навстречу и, захлебываясь, с увлечением стал говорить, что он уже все расска-

зал его благородию про студента в очках и пледе. Пусть, ежели эти книги вредные, — сам и отвечает...

Все это было так натурально, что дня через три рабочих, для порядка все-таки арестованных, отпустили, прочитав соответствующее наставление. Пете Попову жандарм посоветовал еще особо — уезжать лучше домой: таким дурачкам в столице неудобно — как раз запутаешься и пропадешь. Вот видишь, ты и фамилии своей подписать не умеешь...

Так этот эпизод и сошел бы благополучно для всего кружка, если бы не особое обстоятельство. В числе понятых при обыске случился дворник того дома, где Петя еще недавно жил в качестве студента-медика. По странной прихоти этого своеобразного юноши он даже не переменял фамилии, поселившись с рабочими, и только в паспорте изменил звание студента на звание крестьянина. Дворник был парень глуповатый и смотрел с изумлением на непонятное превращение студента в фабричного рабочего. Так он и не решился сказать о своем открытии во время обыска, но дня через два, тяжело обдумав весь эпизод, он все-таки понес свои сомнения к управляющему домом, который тотчас же направил его к начальству. Жандармы сначала не поверили: трудно было думать, чтобы пропагандист не переменял фамилию. Но все-таки, наведя кое-какие справки, убедились, кого они сочли дурачком и кому давали снисходительные советы — уезжать из Петербурга.

Совет этот Попов, конечно, исполнил. Дав товарищам подробнейшие наставления, как им держать себя, он уехал на родину, в Петрозаводск, чтобы записаться на призыв в воинском присутствии, так как личный вопрос о продолжении образования он еще для себя считал нерешенным. Рабочих арестовали вторично, но скоро опять отпустили, а Попов, беспрепятственно отбыв формальности по воинской повинности, уехал пока что в Москву.

Тут злая судьба захотела, чтобы он, скрываясь, попал как раз на конспиративную квартиру шпиона Рейнштейна, о котором я говорил во втором томе. Роль Рейнштейна к тому времени выяснилась вполне, и он был убит. Я уже упоминал о тех кошмарных днях и ночах, которые наступили для жильцов конспиративной квартиры после убийства ее хозяина. Напомню теперь эту историю. Жильцов в квартире Рейнштейна было трое. Попов, затем С-в, тот «любитель революции», о котором я тоже упоминал во втором томе. Несмотря на урок с первым арестом, С-в опять принял участие в какой-то конспирации и вынужден был скрываться. С ними жил еще один, недавно приехавший из провинции, рабочий из крестьян. У бедняги тотчас по приезде в Москву украли деньги и паспорт. Петя Попов, нашел его на вокзале в полной растерянности от пропажи и тотчас же предложил ему приют на конспиративной квартире, пока ему вышлют по этому адресу новый паспорт. Затем Попов тотчас же подружился с ним и до прихода паспорта не мог его бросить.

В течение почти двух недель полиция не знала, что ее ловкий агент лежит убитый в номере одной из московских гостиниц. «Партия», зная о конспиративной квартире, решила предупредить об этом С-ва. В середине ночи раздался звонок. С-в пошел отворять. На его вопрос ответил дворник,

который привел какого-то незнакомого человека. Тот подал С-ву запечатанный конверт, и тотчас же оба ушли. С-в вошел в спальню, вскрыл конверт, страшно изменился в лице и, выскочив на площадку, стал звать ушедших. На темной лестнице никто ему не откликнулся. С-в вернулся к себе, бросился на кровать лицом в подушку и на все вопросы Попова только отмахивался: «Не спрашивай, ради бога, не спрашивай...» Попов насильно взял у него тайный конверт. В нем сообщалось, что хозяин квартиры, шпион Рейнштейн, убит по приговору партии. С-в предупреждается об этом, но с тем, чтобы он никому не сообщал «под страхом смертной казни».

На следующее утро С-в оставил квартиру, но Попов не мог этого сделать из участия к рабочему, ни к чему не причастному и выжидавшему со дня на день паспорта. Легко представить настроение этих двух жильцов роковой квартиры. С утра рабочий уходил на фабрику, а Попов в Петровскую академию и по студенческим квартирам, где нужно было предупредить людей, имевших дело с Рейнштейном. Попова не пугала «угроза смертной казни», и скоро вся радикальная молодежь знала о судьбе Рейнштейна. Попов первое время не верил, что его приятель-рабочий был провокатором, и считал убийство роковой ошибкой. Только впоследствии, из показаний его жены, убедился, что подозрения были основательны. А пока — каждый вечер он возвращался к товарищу, и они вместе проводили тревожные ночи, ежеминутно ожидая, что к ним нагрянет полиция. Рабочий, кроме того, питал суеверный страх, и ему казалось, что по темной квартире ходит ее мертвый хозяин.

Наконец паспорт был получен, и Попов мог оставить своего товарища, который поселился легально на новой квартире, И только после этого трупный запах, распространявшийся из номера гостиницы, заставил вскрыть дверь. Убийство было обнаружено. Кинулись на квартиру Рейнштейна, но там никого уже не было.

Для Попова начались нелегальные скитания, как и для С-ва. В Москве шли сплошные обыски, и скоро С-в был арестован. «Любитель революции» тотчас же прибег к своему обычному приему: рассказал все, о чем его спрашивали, и даже то, о чем совсем не спрашивали. Рассказал и то, кто были другие жильцы конспиративной квартиры. Полиция, конечно, решила, что в лице Попова она имеет дело с «важным и опытным политическим преступником», и стала его усиленно разыскивать. Скоро и он был арестован.

По делу Рейнштейна была назначена особая следственная комиссия, заседавшая в здании окружного суда. Заседания эти происходили очень торжественно, до тех пор по крайней мере, пока комиссии не пришлось допрашивать Попова. Попов поставил себя в отношении следователей совершенно особым образом. Когда его ознакомили с показаниями С-ва, который их закончил обращением к товарищам с просьбой вспомнить, что «давая эти показания, он сидел в темнице», то Попов откровенно заявил, что еще не составил себе определенных политических убеждений, но со школьной скамьи питает отвращение к доносу. Поэтому, сколько бы его ни держали в тюрьме, от него не добьются ни одного показания о других. О себе он скажет все. Когда

председатель все-таки дал ему лист бумаги и предложил, ознакомившись подробно с показаниями С-ва, ответить совершенно откровенно на все вопросы, то Попов, пожав плечами, бумагу взял, но вернул ее с такими показаниями, что председатель, начавший читать с тем же важным и торжественным видом, вскоре потерял всю свою важность и едва мог дочитать ее громко. Начав тем же торжественным и официальным тоном, Попов совершенно неожиданно, нигде не отступая от принятых канцелярских форм, уснастил свои показания такими юмористическими выходками, что за столом стоял сплошной хохот. Даже чиновники из других отделений суда открывали двери и тихонько проникали в комнату, где происходило такое веселое следствие. И это повторялось каждый раз, когда для допроса приводили этого простоватого на вид, невзрачного мальчика. Он умел отлично пользоваться особенностями торжественного канцелярского стиля в юмористических целях и неожиданно находил смешную сторону в официальных действиях. Вначале к нему относились с тою надменною снисходительностью, какую вызывал его простоватый вид. Однажды он попросил, чтобы его перевели из какой-то части, где он до тех пор содержался, в более приличное и более здоровое помещение. Один из участников комиссии, молодой товарищ прокурора, важно заметил, что он сам, будучи студентом, тоже содержался в этой части. Попов вздохнул и посмотрел на него восторженными глазами.

— И с тех пор успели искупить заблуждения и достигнуть таких высоких степеней... Скажите мне, пожалуйста, как вы этого достигли? Может, и меня удостоит господь?..

Опять за столом раздался хохот. Вероятно, у молодого товарища прокурора были свои причины не открывать благодетельного рецепта, и он пожалел о своей снисходительности к лукавому юноше.

Я не помню фамилии председателя этой комиссии. Это, должно быть, был человек неглупый и успел разглядеть истину: юноша, почти мальчик, замечательно даровитый и необыкновенно симпатичный, благодаря только особенностям наших порядков — вовлечен в трагическую историю политического убийства. Под конец следствия он совершенно оставил по отношению к Попову сухой и официальный тон и даже... признал на прощание, что желает ему остаться и впредь таким же и что в его отвращении к доносу есть много здорового...

Комиссия дала о Попове самый лучший отзыв, и если бы дело решалось ею, то Попова оставалось бы только немедленно освободить. Но... жандармы строже смотрели на проделку «непокорного Короната» с их петербургским товарищем, и в один прекрасный день Попов присоединился к обществу В.П.Т., а затем последовал в Восточную Сибирь.

В наши тюремные будни он внес большое оживление. По-видимому, он сам начинал все больше и больше сознавать в себе присутствие внутреннего юмора и с некоторым удовольствием как бы прислушивался к нему. Порой он даже любил испытывать его силу. Часто в часы, когда у нас водворялась тюремная тоска, стоило Попову появиться в камере со своим простоватым видом и неожиданной шуткой, чтобы тоскливая атмосфера рассеялась.

Под конец он достигал этого одним своим появлением. Был у нас рабочий по фамилии Волосков. Это был дюжий, несколько мешковатый парень с медленными и как будто утомленными движениями. Во время одного из бунтов заключенных в доме предварительного заключения — кажется, во время расправы Трепова над Боголюбовым — на него «надели нарукавники». Это приспособление при несколько неосторожном употреблении «может навсегда испортить человека», как говорил Волосков. И его действительно испортили: он кашлял, приобрел вялость движений и тоску... Развеселить его мог только Попов. Последний приобрел над ним такую власть, что стоило ему порой мигнуть особым образом или показать палец, как Волосков начинал смеяться, а при некотором продолжении кидался с хохотом на кровать и упрашивал товарищей увести Попова.

И все-таки это был только «веселый меланхолик», как Пушкин когда-то назвал Гоголя. Однажды, когда ему удалось опять разогнать тучу тюремной тоски своими неожиданными выходками, я сказал ему, сидя с ним рядом на тюремной постели:

— Счастливый вы человек, Петя. В вас такой неистощимый запас жизненной радости.

Он задумчиво посмотрел перед собой внезапно потускневшими глазами и сказал:

— А между тем... вспомните когда-нибудь этот разговор. Я, вероятно, кончу самоубийством...

Я счел это тогда шуткой. Забегая вперед, скажу, что в ссылку Попов попал сначала в Красноярск, а потом в Минусинск, и в обоих этих городах в то же время жил мой зять с семьей и моя мать. Петя был с ними очень дружен, проводил у них много времени и по-прежнему оживлял все ссыльное общество. По временам, однако, в нем стала появляться некоторая нервность и неровности...

В чем же крылся источник меланхолии этого веселого юноши?

Мать и сестра рассказывали мне следующий случай... В Красноярске составилась большой и дружный кружок ссыльных. Потом администрация решила, что так как Красноярск лежит на большом сибирском тракте, то ссыльных лучше перевести в Минусинск. Кажется, именно в Минусинске их посетил известный исследователь сибирской ссылки американец Кеннан. Описывая один из устроенных для него ссыльными загородных пикников, он рассказывает, между прочим, о целой стайке совсем молоденьких девушек, высланных с юга одесским генерал-губернатором Тотлебенем, вернее, его адъютантом Панютиным. Набросав силуэт одной из таких девушек, детски веселого полуробенка, Кеннан приводит затем свой разговор с сопровождавшим его приятелем-художником: «Знаешь что, — сказал один американец другому. — Если бы я был русским императором и не мог спать спокойно до тех пор, пока такие девочки не удалены от меня на десять тысяч верст, то... я бы лучше отказался от этого беспокойного престола...»

С одной из таких девушек, может быть даже с той самой, которую описывал Кеннан, у Попова установилась большая дружба, и, приходя в

квартиру матери и сестры, они целые часы проводили в веселой болтовне и хохоте. Девушка любила общество веселого Пети, но порой обижалась, что он относится к ней несерьезно и часто насмехается.

В действительности он относился к ней даже слишком серьезно. Однажды, когда оба они опять беседовали в соседней комнате, шутки и смех как-то стихли, и вдруг раздался удивленный голос девушки:

— Послушайте, послушайте!.. Ей-богу, Петя объясняется мне в любви!

— А ты и поверила! Ну как же считать тебя умной, — ответил Попов обычным насмешливым тоном. — Станет серьезный человек объясняться ей в любви!

И он опять засыпал ее дразнящими остротами... Но через некоторое время вновь наступила тишина, и вновь послышался торжествующий голос девушки. Она хлопала в ладоши и кричала:

— Честное слово, он целует у меня руки... На глазах у него слезы!.. Плачет, плачет! Что, скажешь, и это несерьезно?

— А ты опять поверила... Дура ты, д-дура!

И опять в соседней комнате все стихло. Чуть доносился тихий голос Пети. Что говорил он? Может быть, убеждал посмотреть на его слова серьезно, без ребяческого ехидства, может быть, старался разъяснить, как тяжело порой даются эти шутки, просил серьезно оценить его чувство... Но безжалостная девочка знала только, что Попов «смешной», что с ним весело, и не могла представить себе других чувств под такой не рыцарской наружностью. А вскоре в ссыльный город прибыл студент-поляк из Варшавы, и она стала его женой.

Я не знаю наверное, имела ли эта романическая история прямое влияние на решение Попова или явились еще другие причины, но только в ссыльных кругах еще до конца моей ссылки разнеслось известие: веселый Петя Попов застрелился...

III. История юноши Швецова

Был среди интеллигентной молодежи В.П.Т. и еще один интересный юноша с любопытной дотюремной биографией. Это Сергей Порфирьевич Швецов, впоследствии известный сибирский статистик и писатель, игравший в последние годы довольно видную роль в период неудавшегося Учредительного собрания. Когда он прибыл в В.П.Т., ему едва исполнилось девятнадцать лет. А между тем он успел уже испытать период нелегальной жизни и сидел в тюрьме в Тифлисе, в так называемом Метехском замке.

Совсем юношей, он был членом такого же юного кружка революционеров, который снарядил его однажды «на пропаганду». Ему дали в руки целую связку нелегальных изданий и послали пешком вдоль Николаевской железной дороги. По пути он должен был вести пропаганду и скреплять ее раздачей листков. Юноша отправился, сразу увидел, что для его пропаганды нет подходящих условий, никакой агитации не вел и нелегальные листки так и

нес все время завязанными в тючок, пока дорогой он не свалился где-то больной. Его подобрали и доставили с его тючком в больницу какого-то уездного города Тверской, кажется, губернии. Здесь он некоторое время пролежал в беспамятстве, потом выздоровел, выписался из больницы, получил в неприкосновенности свой тючок и вернулся к товарищам. Здесь уж шел разгром, и его сочли нужным отправить для безопасности в Тифлис, где он и проживал нелегально, попав по рекомендации в кружок князя Орбелиани.

Этот грузинский князь, вращавшийся в высшем обществе Тифлиса, успел, по-видимому, организовать в этом городе какую-то революционную конспирацию, с участием светской молодежи. Говорили в то время, что в его кружке участвовала даже дочь бывшего кавказского наместника (фамилию его, к сожалению, забыл). Жандармы кое-что узнали об этом. Были даже произведены обыски, но осязательного ничего не нашли. Слухи дошли до Петербурга, и здесь неудачу принятых мер приписывали участию и заступничеству влиятельных лиц.

Во время одного из обысков арестовали Швецова, жившего под вымышленной фамилией. При виде этого юноши, почти мальчика, у власти явилась надежда, что он может кое-что рассказать об интересующей их организации. Но юноша не давал никаких показаний.

Тогда произошел почти невероятный эпизод. Однажды, когда Швецов сидел в своей камере в одном белье, — дверь внезапно отворилась и в камеру вошел немолодой офицер в черкеске и белой папахе. Пройдя вглубь камеры, чтобы положить папаху на стол под окном, офицер повернулся к койке, на которой сидел Швецов, и, подойдя к нему, сказал:

— Молодой человек! Вы попали в опасную компанию, и вам грозит серьезное наказание. Но вы еще можете избежать грозящей вам участи, если расскажете все, что знаете о князе Орбелиани и о всех, причастных к его кружку.

Юноша получил самое простое воспитание, не отличался утонченными манерами и был вспыльчив. Он понял, что ему для смягчения собственной участи предлагают стать предателем, и — рассердился.

— П-послушайте, — сказал он, слегка заикаясь, что случилось с ним всегда, когда он волновался. — П-послушайте! Возьмите свою папаху, подите вон и никогда не являйтесь к честным людям с подлыми предложениями.

Офицер был, видимо, озадачен, но тотчас же взял свою папаху и ушел. Оказалось, что юноша выгнал таким невежливым образом... самого великого князя Михаила Николаевича. Его высочество был, по-видимому, очень заинтересован делом князя Орбелиани, считал, что влиятельные участники ловко тормозят расследование, и, узнав из докладов о юноше, арестованном при обыске у Орбелиани, решил подавить его своим величием и исторгнуть важные показания. Результаты показали, как неудобно иной раз совмещать высокое звание с функциями полицейского Лекока.

Вскоре после этого — юноша еще даже не успел одеться — как к нему ворвались надзиратели и, так, как был, в одном белье, бросили в карцер. Этот карцер находился посреди тюремного двора. Метехский замок был ко-

гда-то крепостью, а карцер представлял некогда пороховой погреб. Стены были толщиной почти в сажень, отверстия окон шли зигзагами в несколько поворотов. Темнота была абсолютная, пол покрыт липкой грязью. На нем шевелились и ползали какие-то гады. Сюда сажали только за особо важные проступки. На этот раз проступок показался «особо важным».

Держали его тут несколько дней и унесли в беспамятстве в тюремную больницу. С ним случился гнойный плеврит. Могло бы кончиться еще хуже, если бы заключенных в этот карцер не охраняла особенная заботливость арестантской общины. В тот же день после обеда во время прогулки во дворе вдруг раздался неистовый шум: среди каторжных вспыхнула общая свалка, одна из тех драк, на какие способны пылкие кавказцы. Казалось, что это настоящий тюремный бунт и что арестанты разносят стены тюрьмы. Все надзиратели и весь наличный караул кинулись в отдаленный угол двора, откуда неслись крики. В это время дверь каменного мешка кто-то открыл отмычкой. Вбежал арестант, подал Швецову бутылку коньяка и сверток с едой, сказал торопливо: «На три дня», и исчез тем же путем. А вскоре после этого и драка стихла. Такая же история повторилась через три дня, и только благодаря этому юноша уцелел.

В В.П.Т. он прибыл сильно ослабевшим, с удушливым кашлем, и, только благодаря богатырскому сложению, ему удалось все-таки оправиться...

IV. Рабочие

В дальнейшем мы встретимся еще с представителями интеллигентной молодежи, населявшей тогда В.П.Т. Тут были студенты разных высших заведений, были гимназисты, как Дорошенко и, помнится, Базилевский, мой земляк, ученик шестого класса житомирской гимназии, были служащие в разных учреждениях, как Кожухов, был молодой, только что окончивший врач Н.И. Долгополов, был прапорщик Верещагин, был другой отставной офицер, Ахаткин, человек, впрочем, уже за тридцать лет и больной... Помню еще студентов Алексева и Боголюбова и, кажется, народного учителя К-ского. Очень возможно, что биографии некоторых из них тоже представляли интересные черты, но я их не узнал.

Затем следовала целая группа рабочих, которых стали привозить к нам из дома предварительного заключения и из московских частей. Все это были по большей части еще очень молодые люди, за исключением белоруса Девятникова, которому было уже за тридцать. Среди этой рабочей молодежи особенно ярко всплывает в моей памяти фигура почти еще ребенка Шиханова. Когда его привезли в В.П.Т., ему едва ли исполнилось девятнадцать лет, но по наружности он выглядел еще моложе. У него было круглое лицо с ямками на щеках, детски свежее и румяное, несмотря на то что этот полуребенок уже года четыре провел в доме предварительного заключения. Представители нелегально существовавшего политического Красного Креста сразу обратили внимание на этого очень милого мальчика-рабочего и усиленно но-

сили ему все, в чем он мог нуждаться. Он особенно просил книг и жадно поглощал сочинения самого серьезного содержания. Читал он запоем целые дни и — трудно представить, какой кавардак произошел в юной голове от этого чтения. У бедного юноши, впитывавшего новые мысли, как губка, без предварительной подготовки и без руководства, как говорится, зашел ум за разум. Когда камеры (часть нашего дня) бывали раскрыты, звонкий голос Шиханова (или Шиханёнка, как мы скоро стали называть его) то и дело выносился из той или другой камеры, куда он врывается, внося с собой шумные споры. Спорил он страстно и с необыкновенным оживлением, то и дело забрасывая противника массой цитат. Порой цитаты эти вызывали хохот, до такой степени он приводил их вразрез тому, что диктовал простой здравый смысл, но Шиханов мало стеснялся этим, всегда предпочитая цитату здравому смыслу.

Память у него была удивительная, тон всегда детски восторженный.

— Великий английский экономист Джон Стюарт Милль, написавший гениальную книгу об утилитаризме и свободе... — звенел его задорно-мальчишеский голос в одной камере...

— Великий русский философ Николай Константинович Михайловский говорит по этому поводу... — через полчаса неслось из другой.

— Истинно практичный русский рабочий Обручев говорил мне, — звенело в третьей. Этот Обручев, по-видимому, произвел на мальчика Шиханова такое неизгладимое впечатление, что его мнение он ставил наряду с самыми мудреными цитатами. Все наше общество относилось к Шиханёнку с некоторою нежностью, как к ребенку, что не мешало порой со смехом выводить его из иной камеры, где он уж слишком надоедал неудержимым шмелиным жужжанием...

Его послали в Восточную Сибирь с первой партией. Один из товарищей по ссылке встретился с ним там и впоследствии рассказывал мне об его чудачествах на почве все той же начитанности. Как-то они вдвоем решили бежать с места ссылки где-то в Красноярском или Минусинском округе. Часть пути пришлось плыть в лодочке по чрезвычайно быстрому течению Енисея. Шиханёнок, не умевший править, сидел на веслах, более опытный товарищ — у руля. В известном месте на берегу Енисея их должны были ждать, чтобы сообщить нужные сведения и адреса. Было условлено, для избежания ошибки, что у гребца щека будет повязана, как будто от зубной боли. Но когда лодка приблизилась к условленному месту, то Шиханов, к удивлению товарища, наотрез отказался повязать щеку. Поворот, был опасный, рулевой не мог оставить своего места, а Шиханов на все убеждения отвечал, что платок придаст ему неэстетический вид, и засыпал товарища цитатами о важности «эстетического элемента» в жизни. Могло случиться, что на условном месте ожидает ссыльная девушка или дама. Так, среди препирательств и цитат быстрое течение пронесло лодку, и условленных сведений получено не было.

В другой раз во время этого же побега им случилось идти через деревню под видом приискателей. На ночлеге Шиханову захотелось молока.

День был постный. На замечание хозяев по этому поводу Шиханов с большой горячностью стал приводить цитаты из популярной гигиены о значении молочной пищи и — чуть было не выдал себя. К счастью, в это время в деревню еще не дошло известие о побеге двух политических.

Когда-то в журнале «Вперед» П. Л. Лавров сделал математический расчет, в какое время, по закону возрастающей прогрессии, Россия вся будет охвачена революционным сознанием. При этом принималось, что один пропагандист из рабочих равен пяти интеллигентам. Теоретические выкладки не всегда совпадают с действительностью. Из моих тогдашних наблюдений я вывел другое заключение. В то время многие рабочие, поглотив революционную литературу, разучивались говорить со своим же братом просто и не замечали, какое юмористическое удивление вызывали их слишком книжные речи. Однажды мне пришлось уже в пути наблюдать такой случай: политическая партия прибыла в томский пересыльный замок. Места в кухне были все заняты прибывшими раньше уголовными партиями. Для переговоров послали одного рабочего, о котором было известно, что он прочел Маркса, и с которым свободно можно было говорить о любом отвлеченном вопросе. Его послали в качестве посредника. Я в то время был старостой партии, и через некоторое время мне сказали, что нужно идти на выручку нашему парламенту. Я застал его в кухне окруженным тесно сгрудившимися арестантами. Он стоял в середине и говорил по-книжному о необходимости солидарности. Арестанты смотрели на него как на невиданное чудо, и со всех сторон на него сыпались остроты и язвительные замечания... Между тем несколько простых слов было достаточно, чтобы уладить дело.

— Так бы и говорил сразу, — послышалось из толпы, — а то городит невесть что.

Впрочем, такую же черту я встречал порой и среди интеллигентов, захваченных вихрем новых идей в слишком юном возрасте...

V. Хороший человек на плохом месте

Режим В.П.Т. был суровый. До нас доходили слухи, что в другой пересыльной тюрьме, в Мценске, политические арестованные пользовались большей свободой, получали книги, даже газеты, родственники допускались в камеры, порой обедали вместе с заключенными, и даже, говорили, в тюрьме устраивались целые конференции по злободневным вопросам. Это зависело, вероятно, от тогдашнего орловского губернатора и от смотрителя, которые смотрели сквозь пальцы на отступление от строгих инструкций.

У нас было не то. Тверской губернатор Сомов, седой старик, чисто чиновничьей складки, был вообще жесток к уголовным, часто назначал телесные наказания и любил присутствовать при них лично, а к политическим относился с суровой враждебностью. Поэтому у нас строгая инструкция исполнялась до мелочей. На наше питание отпускалось, помнится, тринадцать копеек на все, и прибавлять с своей стороны не полагалось. А так как при этом существовала еще разница между привилегированными и непривилеги-

рованными, на которых полагалось еще меньше, то все мы питались очень скудно. Книг у нас не было. Было установлено, что о каждой книге, которые были у иных арестованных, нужно было подавать особую просьбу, которая шла в Тверь на разрешение губернатора, и долго мы не получали ответов. Бумаги, карандашей, перьев не допускали ни в каком случае; белье и платье полагалось только казенное.

Нет сомнения, что при другом смотрителе этот режим повел бы к постоянным столкновениям, а может быть, и к тюремному бунту. Мы выносили его только потому, что проводил его Ипполит Павлович Лаптев.

Это поистине был хороший человек на плохом месте. Я уже говорил о первом впечатлении от встречи с ним. Это была топорная фигура, огромного роста и необыкновенного добродушия. Когда-то, во время русско-турецкой войны, ему пришлось заведовать тюрьмой, где содержались пленные турки. Ему донесли, что пленные бунтуют. Он подошел к шумевшей толпе, высмотрел одного из зачинщиков, подошел к нему и... неожиданно поднял его за ноги на воздух...

— Они, дуг'ачки, сг'азу, пг'исмиг'ели, — говорил он об этом случае с выражением благодушного сожаления к «дурачкам»... Эта необыкновенная сила соединялась в нем с таким же необычайным добродушием и честностью, поэтому Лаптев отлично ладил с простой арестантской средой и чувствовал себя на месте.

Не то было теперь. Он долго отказывался от назначения в политическую тюрьму, и только то обстоятельство, что ему оставалось два года до пенсии, заставило его принять эту службу.

Прежде всего он не одобрял ее. Я заметил вообще, что усиление «административного порядка» и бессудных арестов вызывало недоумение у старых служаек тюремного ведомства. До сих пор они привыкли все-таки, что в России начинала устанавливаться законность. В тюрьмы приводили воров, разбойников, людей, так или иначе прикосновенных к нарушению законов. Всякий арест сопровождался точным указанием статей обвинения. Теперь приходилось иметь дело с людьми, по большей части интеллигентными и ни в чем, в сущности, не обвиняемыми. Это сбивало с толку прежних служаек и вызывало в них неуверенность в правоте их собственного положения. Эту черту я заметил уже у старика вятского смотрителя, а у Лаптева она кидалась в глаза и вызывала эпизоды, вроде недоуменных вопросов Павленкову...

Но... сила солому ломит. Пенсия дело важное, и Лаптев принял назначение. Он был очень робок. С одной стороны — инструкция, нарушение которой, казалось, грозит ему самому превращением в государственного преступника, с другой — искреннее сочувствие к положению заключенных. И Ипполит Павлович стал для нас каким-то парадоксальным добрым тираном. Видя, как сам он трепещет перед возможностью доноса на него, и вместе — как ему тяжело стеснять нас, — мы мирились с бессмысленной инструкцией и подчинялись ей с своего рода юмором, вытекавшим из положения нашего благодушного тирана.

Особенно озабочивал его вопрос о книгах. Человек мало образованный, к книге он относился с каким-то суеверным почтением. А между тем тупой формалист Сомов то и дело запрещал выдачу книг. Был случай, что он ответил отказом на просьбу выдать Тургенева, находя, что роман «Новь» может произвести на нас деморализующее влияние. Когда пришлось сообщать об этом отказе, то Ипполит Павлович взамен Тургенева принес Адама Смита. Эта книга каким-то образом попала к нему в собственность и была его настольной книгой. Многие из моих бывших товарищей по В.П.Т., наверное, помнят этот экземпляр Смита («О нравственности»), весь испещренный заметками Лаптева в таком роде: «Мы, — говорит Адам Смит, — любим, когда к нам относятся дружелюбно, и нам неприятно, когда нас порицают». Лаптев на полях написал: «Глубочайшая истина. Смит — великий знаток души». Остальные замечания были в том же роде, и все они обобщались в следующем заключении на обложке, выраженном даже в стихотворной форме:

— Адам Смит, говорят, спит!
Нет, он живет и далеко пойдет!
Его душа жила для пользы.
Читайте сей книги больше.

Штабс-капитан Ипполит Лаптев

В этом творении он был так уверен, что выдавал его без справок у начальства, в убеждении, что оно может отвратить нас от заблуждений, которые привели нас в В.П.Т.

Вспоминаю и еще один случай такого же самовольного отступления. У одного из новоприбывших варшавян оказался в чемодане... «Капитал» Маркса, и у него возникла смелая мысль получить эту книгу в камеру. Мы считали предприятие безнадежным, но через некоторое время Абрамович вернулся с Марксом в руках. На вопрос Лаптева: «Что это за книга?» — тот ответил просто:

— Эта книга учит, как наживать капиталы. Лаптев с любопытством развернул такое полезное руководство и наткнулся на формулу: «20 аршин холста = одному сюртуку». Ему показалось, что он понял.

— Знаю, — сказал он. — Этой книгой часто пользуются военные приемщики. — И «Капитал» был допущен в камеры, из которых старательно изгонялся Тургенев.

Возможно ли было негодовать и возмущаться при таком добродушии. Мудрено ли, что основной тон наших отношений к этому тюремщику был не враждебный, а скорее юмористический.

Мы держали себя как школьники с старым учителем-формалистом, снося его благодушную тиранию. Не могу забыть, как мы с «надворным советником Анненским» потихоньку воровали чернила из конторы. Анненский передал мне банку чернил, стоявшую на другом конце стола, за которым мы писали письма родным, а я потихоньку отлил из нее часть чернил в пузырек

из-под лекарства. В это время мы от скуки затеяли писать коллективный роман. К сожалению, старший надзиратель заметил нашу проделку, но я, уже незаметно для него, опять передал пузырек Анненскому, который и ушел из конторы. Когда я вышел, в свою очередь, то на тюремной лестнице меня догнал Лаптев.

— Мне донесли, — сказал он взволнованным голосом, — что при вас есть банка чернил. Я не хочу вас обыскивать. Я вам поверю: скажите мне — правда это?

— Я скажу вам правду: при мне никакой банки с чернилами сейчас нет.

— Правда?

— Правда, — сказал я, улыбаясь. — Даю вам слово, что если бы вы меня обыскали, то и тогда ее не найдете, потому что сейчас ее у меня нет.

Он, по-видимому, понял условность моего ответа, но все-таки очень обрадовался, тотчас же сошел вниз и стал строго говорить старшему надзирателю, что он осмотрел меня и никаких чернил не нашел...

Наши свидания с родными происходили в особой комнате в нижнем этаже тюрьмы. В комнате были два барьера, оставлявшие в середине промежуток аршина в полтора. Мы помещались за одним барьером, наши посетители — за другим, в проходе между нами прохаживался кто-нибудь из администрации, по большей части сам Лаптев. Моя мать или какая-нибудь из сестер приходили часто вместе с женой Анненского, известной детской писательницей, и ее племянницей, которая воспитывалась у Анненских. Девочке было тогда семь лет, и Ипполит Павлович не препятствовал незаконному переходу этой посетительницы на нашу сторону. Мы с Анненским подымали обыкновенно девочку на барьер и держали ее между собой. И тут, увы! — иногда мы злоупотребляли доверием Лаптева: девочка переносила на нашу сторону карандаш, записочку, газету или другую контрабанду. Однажды, обнимая меня, она сунула цельный новый карандаш. Но он попал мимо кармана арестантского халата и с резким звоном упал на асфальтовый пол. По лицу Лаптева пробежало выражение страдания, но он продолжал ровным шагом ходить в проходе. Я наступил ногой на карандаш, потом поднял его и торопливо сунул за халат. Резкий звук падения повторился, повторилась и волна страдания, пробежавшая по лицу Лаптева. Я опять по возможности незаметно поднял карандаш. Я понимал настроение Лаптева: он был формалист и должен был установить так или иначе факт преступления, причем соучастницей являлась бы светловолосая и светлоглазая девочка. На это у него не хватило мужества, и... карандаш остался у меня.

История этого карандаша имела свое продолжение. Однажды утром, еще задолго до проверки, я проснулся от странного ощущения, будто на меня надвигается какая-то гора. Раскрыв глаза, я увидел, что над моей постелью стоит Лаптев и укоризненно поматывает своей огромной головой, причем взгляд его прикован к какому-то предмету на стуле, стоявшем рядом с кроватью. На нем лежала открытая книга, кажется тот же Адам Смит, а на ней — преступный карандаш. Очевидно, его заметил в глазок старший надзиратель,

может быть знавший о происшествии на свидании, и — поднял Лаптева, жившего довольно далеко от тюрьмы. Огромный указательный перст протянулся по направлению к неосторожной улке, и затем, видимо глубоко огорченный, Лаптев повернулся и вышел из камеры. Я был уверен, что он унес с собой карандаш. Но я ошибся: карандаш остался на месте.

А между тем он, очевидно, доставлял Лаптеву много заботы: когда мать после этого еще раз, уже на прощание, приехала в Вышний Волочек с сестрой, Лаптев встретил ее ласковыми словами. Он знал, что вся наша семья была разбита и матери предстоял долгий и трудный путь в Красноярск к зятю с сестрой и ее ребенком. Он встретил ее с участливым вниманием и, зная, чем угодить матери, стал хвалить меня:

— Хаг'оший сын у вас, очень хаг'оший. И потом прибавил, как бы невольно:

— Ну, есть одно...

— Что такое? Ради бога! — спросила мать.

— Есть, есть одно, — продолжал он таинственно и, видя, что мать встревожена, прибавил: — Каг'андаш у себя имеет...

— Ну это еще ничего, — облегченно вздохнула мать, опасаясь услышать что-нибудь более «политическое».

— Напг'асно вы так думаете... Ах, напг'асно...

Матери пришлось уехать задолго еще до отправления нашей партии. Ей надо было торопиться с отъездом до такой степени, что одно из свиданий, на которое она получила разрешение, должно было остаться неиспользованным. Она пришла утром, и наше свидание проходило печально. Она сидела на этот раз со мной рядом и с грустью говорила о том, как тяжело ей будет ожидать поезда, который уйдет только вечером. Ипполит Павлович ходил по камере, мрачно насупясь. Лицо его становилось все суровее и мрачнее. Вдруг он резко остановился против матери и спросил ее строго:

— Сколько свиданий вам разрешено?

— Четыре, — ответила мать.

— Так вы и обязаны (это слово он произнес с натиском) прийти четыре раза... Надо исполнять г'аспог'яжения начальства. Непременно п'гиходите еще раз до отхода поезда...

Все это он говорил так сурово, точно изрекал приговор, и все это значалось для слуха старшего надзирателя. И мать в неурочное время просидела у меня, сильно сократив тоскливое ожидание вечернего поезда.

Наша жизнь печальна: скверных мест в ней и до сих пор еще слишком много. Было бы уж слишком тяжело жить, если бы на этих скверных местах хоть изредка не попадались люди вроде Ипполита Павловича Лаптева, или того жандарма в Третьем отделении, который после нарочито суровых окриков («не велено разговаривать!») шепотом сообщал мне сведения о брате, или того служителя в Спасской части, который, сначала прищемив мне ногу дверью, затем с опасностью для себя ввел в мою камеру Битмита. К счастью, на темном фоне этих моих воспоминаний то и дело, как искорки, мель-

кают и еще будут мелькать неожиданные проявления человечности со стороны «добрых людей на скверных местах».

VI. Жизнь в В.П.Т. — Тюремные развлечения. Коллективный роман

Наш тюремный день в В.П.Т. проходил следующим образом. Прежде всего в нашей камере просыпался прапорщик Верещагин. Проснувшись, он подымал ноги перпендикулярно туловищу вверх, потом быстро опускал их вниз и, как пружина, вскакивал с постели на пол. Тотчас после этого он принимался трубить зорю, искусно подражая горнисту. Его звонкий голос разносился по коридору, указывая, что скоро пройдет поверка и, значит, всем пора вставать. Караульный офицер, смотритель или его помощник с полувзводом солдат обходили камеры, проверяя число арестованных. После этого на некоторое время камеры оставались открытыми. Мы выходили к общему умывальнику, потом собирались в общую столовую для чая или чаще (ввиду недостатка средств на покупку чая) для ячменного кофе.

Затем камеры опять запирались до обеда. В это время, особенно вначале, в наши камеры прокрадывалась тюремная скука. Все мы были здоровы, бодры и сильно томились невольным безделием. Впоследствии рядом настоячивых, официальных прошений, которыми мы засыпали губернатора и даже министра, нам удалось добиться некоторого количества книг. Но вначале и их не было. Поэтому особенно дороги были люди, не поддававшиеся скуке. Одним из таких людей был прапорщик Верещагин. За что он попал в политическую тюрьму, никто из нас в точности не знал. Язвительный Кожухов утверждал, что это постигло прапорщика «за пьянство, за буянство и за побитие фонарей». Нельзя сказать, чтобы Верещагин опровергал это с особой убедительностью. Вообще он застенчиво избегал разговоров о причинах своей ссылки. Известно было, что до катастрофы он ходил добровольцем, в Сербию. Он с восхищением рассказывал о том, как в Сербии рядовые вне строя свободно протягивают руку военному министру и тот охотно отвечает рукопожатием. Вернувшись опять в Россию, он уже не мог забыть сербских порядков и привыкнуть к российской армейской дисциплине. Кроме этих демократических воспоминаний, он вывез из Сербии замечательную коллекцию сербских, болгарских и турецких ругательств, и, кажется, больше ничего. Вообще же он обладал многими общежительными талантами. Во-первых, он знал все военные сигналы и отлично разыгрывал их на губах. Кроме того, мог на разные голоса выкрикивать командные слова. Когда стало тепло, Верещагин, устроившись у открытого окна, производил примерные учения и смотры, изображая в лицах начальство разных рангов, начиная от командира полка и кончая дивизионным генералом. Особенно удавался ему старый полковник с сильно осипшим голосом. Все это он производил так артистически, что даже караульные офицеры и солдаты прислушивались к этим примерным учениям, ухмыляясь и с видимым интересом, пока прапорщику не пришлось их прекратить.

Был у нас одно время в числе караульных офицеров подпоручик Соловьев. Человек еще совсем молодой, с нездоровым и желчным цветом лица, он, по-видимому, не пользовался расположением ни солдат, ни товарищей офицеров, поэтому они слушали, весело улыбаясь, как Верещагин, голосом старого полковника, распекал Соловьева:

— Па-ад-паручик Соловьев!.. Что это у вас за походка! Вы ходите не как бравый офицер, а как стар-рая ба-ба!

Представление всегда имело большой успех, пока однажды Верещагин, то ли не заметив смены караульного, то ли не удержавшись от соблазна, проделал примерное учение с распеканием в присутствии... самого Соловьева. Тот пришел в бешенство и пригрозил Лаптеву, что в случае повторения он прикажет караульным стрелять в окно. Лаптев явился встревоженный, и примерные учения пришлось прекратить.

Были у веселого прапорщика и другие таланты. Он часто ходил в кухню и умел порой разнообразить наш скудный стол. Кроме того, он сочинял стихи, перемешивая фривольные казарменные темы, имевшие у нас мало успеха, с темами нравоучительного свойства. Эти последние порой вызывали у нас настоящий фурор. Особенное веселье возбуждало в нашей аудитории одно стихотворение Верещагина, начинавшееся словами:

— Кор-рыстолюбие!! Тебя я презираю. Прапорщик становился в позу и декламировал

с большим оживлением, указывая перстом в ту сторону, где стояла койка Кожухова. С Кожуховым вообще у него происходили столкновения из-за разницы темпераментов. Корыстолюбие этого молодого человека прапорщик усматривал в той тщательности, с которой он охранял свое мыло и другие мелочи, оберегая их от посягательств безалаберного Верещагина.

Наконец тот же веселый прапорщик ввел у нас для развлечения тюремные игры. Все они были заимствованы от уголовных, и все были более или менее спартанского свойства. Двум завязывали глаза и одному из ослепленных таким образом давали в руки туго скрученный жгут. Остальные становились вдоль стен и наблюдали, как оба действующие лица искали ощупью друг друга. Вся соль состояла в том, что жертва, порой с самым хитрым видом, прислушиваясь к шагам палача, как раз устремлялась навстречу его ударам. Иногда, когда жгут бывал в руках Верещагина, а избегать ударов приходилось Кожухову или наоборот, — игра приобретала довольно драматический характер.

Почти такой же характер имела другая игра. Часа на два или на три после обеда камеры не закрывались, и мы свободно разгуливали по коридору. Вот в эти часы чаще всего устраивалась «скачка с препятствиями». Один из нас изображал лошадь, другой садился ему на плечи в виде седока и скакал вдоль коридора. У каждой камеры становились другие участники, и, в то время когда всадник мчался мимо их дверей, они имели право наносить ему удары по мягким частям. Всадник обязательно был в одном белье, и чем звонче раздавался шлепок, тем более это возбуждало веселья. Андриевский и Павленков не решались на роль всадников, а Анненского трудно было бы не-

сти вскачь по коридору. Поэтому предполагалось, что они лишены также права наносить удары. Но это лишение фактически коснулось только Андриевского. Что же касается Анненского и Павленкова, то они не могли отказать себе в удовольствии хоть изредка шлепнуть проезжающего всадника. Не могу забыть, как Павленков, притаясь за косяком, внезапно выскакивал в коридор и, радостно сверкая глазками, ухитрялся порой с своей стороны нанести удар.

В часы, когда камеры запирались, мы устраивали порой общие чтения. За неимением книг приходилось порой сочинять самим. В чемодане Волохова были номера еженедельных приложений к «Новому времени». Это было допущено, и он читал нам свои очерки из фабричной жизни. Верещагин или Дорошенко поставляли стихи, соперничая друг с другом на поэтическом поприще. Критика допускалась, и нам доставляли большое удовольствие взаимные критические замечания двух поэтов. Прапорщик находил, не без некоторого основания, что стихи Дорошенка представляли сладкую водицу. Они действительно гладки, но очень сентиментальны. В свою очередь, Дорошенко то и дело находил у соперника грубые промахи против логики и даже грамматики.

Случайные темы скоро иссякли, и Дорошенко предложил начало повести. В чудный вечер, на берегу гладкого пруда, при луне, под развесистым деревом молодой человек сидит с юной девушкой. Он революционер-пропагандист и зовет ее от дряхлого мира уйти с ним на пропаганду в Рязанскую губернию. Молодые люди обмениваются длинными поучительными разговорами. Слушатели находили, что молодой человек похож на меня, и я стал по этому поводу предметом шуток... Вторую главу написал я, третью — Волохов, четвертую — Николай Федорович Анненский. Постепенно герои преобразались, и интрига усложнялась. Девица, наружность которой Дорошенко описал лишь самыми общими чертами, приобрела некоторые особенности. Один глаз ее был голубой, как ясная синева неба, другой черный, как адская бездна. Голубым глазом она смотрела на героя, звавшего ее в Рязанскую губернию, но черный то и дело обращался на мрачного нигилиста, подобно Гану-исландцу, жившему в пещере с медведицей. Он зовет ее за собой в вологодские леса и начинает с того, что в первый же вечер кидает сладкого героя в пруд. В следующей главе героиня поступила в распоряжение прапорщика Верещагина с некоторыми обязательствами, которые автор и выполнил. Он вводит героиню в избранное общество героев-офицеров, которые отвращают ее от обоих штафинок изысканностью и тонкостью обращения. При этом, однако, вследствие некоторого разлада автора с грамматическими правилами, с героиней то и дело выходили недоразумения. Она уже начинает мечтать при лунном свете о великолепном гусаре. Когда наконец она подходит к своему девственному ложу, то, по игре своеобразного стиля, оказалось, что место уже занято. По грамматической оплошности автора вышло, что в постель легла не девица, а луна. Я иллюстрировал этот роман и набросал картинку: девица в изумленной позе стоит у постели, а на нее из-под одеяла глядит, улыбаясь, полная луна.

Эта глава подала повод для очень бурных критических споров, причем прапорщик Верещагин, оскорбленный язвительными замечаниями Кожухова, кинул в него туфлей. Впрочем, это было единственное острое столкновение, происшедшее в этот период пребывания нашего в В.П.Т.

Читатель простит мне это сокращенное изложение пустяково-шутливого романа, но я позволил себе привести его как характерный образчик нашего тогдашнего настроения. Мы все попали в своего рода заводь. Где-то шумели события, шла все обострявшаяся борьба, а мы, известная группа революционеров, или сочувствующих и «неблагонадежных», вынуждены были пассивно ожидать высылки. Кроме того, среди нас были люди, уже не чуждые литературе; роман должен был переходить из камеры в камеру, и возможно, что в нем отразились бы характерные черты тогдашнего настроения. Наконец не лишена характерности и судьба, постигшая это детище коллективной тюремной музыки. В один прекрасный день роман вдруг исчез, и через некоторое время вероятная судьба его выяснилась: по всем видимостям, он погиб жертвой... цензуры.

Был у нас такой строгий человек, некто К-ский. Во всех его манерах, даже, как шутили порой, в его походке, сквозило чрезвычайное сознание достоинства и даже важности. Говорили, что он осуждал наше легкомысленное детище, находя, что недостойно «радикалам» заниматься такими пустяками. Когда роман попал в его камеру, он счел себя не только вправе, но и обязанным его уничтожить. Таким образом, карьера разноглазой девицы прекратилась на ее мечтах о гусаре, и продолжение не попало ни к Пете Попову, ни к Павленкову, о чем я лично очень жалел... Впрочем, скоро последовало событие, на время оживившее тюремные будни, и судьба так своеобразно запрещенного романа отошла на второй план.

VII. Ревизия кн. Имеретинского

Ипполит Павлович сообщил нам, что тюрьму должен посетить «адъютант гр. Лорис-Меликова» и всех нас будут вызывать в контору для опроса.

Это к нам докатилась волна «диктатуры сердца», как (впоследствии) иронически назвал период лорис-меликовской власти Катков, вначале, впрочем, горячо ее приветствовавший. 12 февраля 1880 года последовал известный указ о предоставлении графу Лорис-Меликову особых полномочий, а 4 марта под его председательством последовало первое заседание верховно-распорядительной комиссии. На этом заседании постановлено было, между прочим: рассмотреть и проверить списки арестованных, а также привести в известность лиц, подвергшихся высылке и отдаче под надзор полиции в административном порядке.

Об этом мы, разумеется, ничего не знали, пока Лаптев не сообщил нам, что к вечеру кн. Имеретинский, командированный для проверки, будет нас опрашивать.

Мы стали ждать с некоторым нетерпением, хотя, сказать правду, мало ожидали от этого посещения. Наконец стали вызывать в контору. Одним

из первых был вызван Алексей Александрович Андриевский. Порядок нашего тюремного дня был нарушен, камеры долго не затворялись, и мы с жадным любопытством бросились к вернувшемуся с допроса Андриевскому. Он, смеясь, рассказал нам, как, войдя в канцелярию, где за столом сидели Имеретинский и его два секретаря, он тотчас же снял с ноги арестантскую туфлю и сказал, поставив ее на стол:

— Вот, ваша светлость, в какой обуви вынужден ходить государя моего коллежский советник. — И затем он драматически потряс вдобавок полу арестантского халата.

Рассказывая нам этот эпизод, он сам хохотал. В его лукавом юморе, как всегда, были две стороны: с одной — он высмеивал тех, к кому обращался, но с другой — понимал, что это производит на них известное, совсем не юмористическое, впечатление. Удивленному Имеретинскому могло показаться, что старый, заслуженный «коллежский советник» от горя немного тронулся в уме, но его волнение было, конечно, понятно служилым людям.

Моя очередь пришла уже поздним вечером. За столом в тесной канцелярии сидел кн. — Имеретинский в генеральской тужурке. Это был человек неопределенного возраста с приличной и интеллигентной физиономией. Один из секретарей сидел рядом с ним и записывал результаты опроса. Другой секретарь, тоже с пером и бумагой, сидел поодаль. Оба они были в штатском. В манере князя мне почуялось несколько пренебрежительное отношение военного человека к тому, что могла натворить штатская администрация. Он вежливо попросил меня сообщить... за что я подвергся ссылке...

— На все вопросы об этом, с которыми я обращался до сих пор к властям, — сказал я, — я получил ответ — за неблагонадежность... На вопрос о фактах, в которых она выразилась, нам отвечали неизменно, что это государственная тайна. Мы надеялись, узнав о вашем посещении, что на этот раз хоть это нам станет известно. Но... из вашего вопроса я вижу, что и эта надежда нас обманула... Что же мы можем сказать вам?

Я говорил, вероятно, с некоторой горечью. Имеретинский попросил меня успокоиться и повторил вопрос: может быть, я хоть догадываюсь о причинах моей первоначальной ссылки и затем высылки сюда. Я ответил, что считаю бесполезным пускаться в такие догадки. Факты состоят в том, что тогда-то все мужчины моей семьи были арестованы и высланы без объяснения причин. Так же без объяснения причин я был выслан из Глазова в Починки, а оттуда переведен сюда. Это все, что могу сказать о себе. Но если князю это любопытно, то могу ему сообщить, что такой же порядок практикуется теперь относительно крестьян, повинных в подаче прошения на высочайшее имя.

И я рассказал ему в кратких чертах историю Богдана и других ходяков. Он слушал с интересом, и секретарь, сидевший поодаль, записал мой рассказ. На этом опрос прекратился.

Какие последствия имел этот опрос — читатель узнает впоследствии. Тогда же весь эпизод вызвал у нас лишь скептические насмешки: еще одна бесплодная командировка важного генерала, и ничего больше. Генерал, по-

видимому, охотно отметит некоторые ошибки штатской администрации, но правовое мировоззрение у них одно и то же. В лучшем случае — несколько лишних запросов по адресу губернаторов, может быть, в том числе и вятского. Ответ не будет ему стоить много труда: такой-то представляет опасную личность, с которой иначе справиться было невозможно. И затем — ссылка на полицейские донесения. Опровергать все это я не имею возможности. Да наконец, что же и опровергать: несомненно, что, с точки зрения администрации, в том числе и этого генерала, а может быть, самого Лорис-Меликова, я — человек, на которого самодержавное правительство «благих надежд» возлагать не может, так как я глубоко ненавижу весь произвол существующего порядка.

Оглядываясь теперь на это время, я вижу, что общий скептицизм, с которым В.П.Т. встретила миссию Имеретинского, был довольно правилен. Конечно, Россия тогда еще далеко не созрела для настоящего народоправства, но всякая страна всегда является созревшей для законности. Если бы Лорис-Меликов понимал это настоящим образом, он мог бы поддержать требование законности сильным еще тогда авторитетом царской власти, и, кто знает, — может быть, эпизод Лорис-Меликова мог бы стать поворотным пунктом, своего рода осью, вокруг которой повернулась бы русская жизнь — от самодержавия, через твердый просвещенный абсолютизм, к конституционному строю.

Но... все это лишь гадания. Сам Лорис-Меликов не понимал этого и дал только «диктатуру сердца». Одной рукой он старался смягчить действия административного произвола, отпускал арестованных сыновей и дочерей, «утирая слезы родителей», а другой — принципиально закреплял тот же произвол. До сих пор существовала хоть фикция: административные репрессии не считались наказанием, а лишь «презервативной мерой», ввиду смутного времени. Лорис-Меликов первый ввел «приговоры на сроки» в административном порядке. Так, дело сестры Петра Зосимовича Попова и моего приятеля студента Мамикониана, о которых жандармы давали самые ужасные и, надо сказать, совершенно лживые сведения, Лорис-Меликов разрешил бессудным приговором к тюремному заключению на срок. Срок, сравнительно с обычной в то время практикой, был непродолжителен, но... принципиальное значение такой меры очевидно.

Да, это была только «диктатура сердца», не способная отвратить страшную трагедию, уже нависшую над царствованием «царя-освободителя». И тот невольный скептицизм, с которым наша политическая тюрьма встретила миссию Имеретинского, служил зловещим предзнаменованием глубокого недоверия ко всем «реформам сверху», вызвавшего катастрофу 1 марта.

VIII. «Украинофилы» в В.П.Т

Из этого периода жизни в В.П.Т. я почти не припоминаю тех тяжелых тюремных дряг, которые так легко охватывают людей, приневоленных жить

вместе в бездействии. В общем, мы жили дружно. Горячие споры возникали порой главным образом около украинофильства.

У нас было два украинофила: Андриевский и Долгополов. Они успели убедить Дорошенка, что он (с такой исторической фамилией) является тоже настоящим украинцем, и с этих пор Дорошенко стал пописывать сладенькие стишки хотя и на русском языке, но с украинскими мотивами. К нему присоединился почему-то очень хороший простодушный студент Алексеев, родом феодосийский грек. А так как моя фамилия тоже кончалась на енко, то скоро я стал до известной степени центром нападений Андриевского и Долгополова.

В первом томе я уже говорил о том, как на мою юную разноплеменную душу заявили притязания три национальности: польская по матери и по материнской речи, на которой мы говорили в семье, русская, так как отец считал себя русским и после восстания ввел в нашу семью русский язык, и, наконец, украинская, явившаяся в лице учителя Буткевича, который показался мне как будто подделывавшимся под что-то чужое.

В конце концов этот душевный кризис разрешился тем, что меня всецело привлекла русская литература. Некрасов победил в моей душе Шевченка, а никогда не виданная в детстве Волга — такой же не виданный Днепр. «Унылый, сумрачный бурлак» захватил мою душу гораздо сильнее, чем гайдамаки Шевченка, которые вдобавок резали, как Гонта, своих детей только за то, что они, как и я, происходили от матери-польки. Я стал безнациональным народником, до известной степени космополитом, как и вся передовая русская интеллигенция моего поколения. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Печаль и гнев властно нарастали в душах, пробужденные и воспитываемые всей русской литературой, занимая первое место в душах одинаково украинца Лизогуба и такого же украинца Осинского, как и их русских товарищей, вместе с ними отдававших свои, жизни общерусскому освободительному движению. Уже в недавнее время профессор Грушевский дал очень злую характеристику тогдашнего «украинофильства», а тогдашнее украинское движение все еще оставалось в пределах украинофильства, слабого по сравнению с могучим течением, увлекавшим нашу молодежь. Драгоманов пытался придать украинскому движению политический и социальный характер. Но практически эта его работа проходила в Галиции, где он господствовавшие тогда консервативно-москвофильские течения стремился направить в народническое русло, для чего сравнительная свобода давала известный простор. Наряду с проповедью языка Шевченка и Котляревского, понятного народу, он горячо пропагандировал также знакомство галицкой молодежи с русской передовой литературой, которая боролась с консервативными течениями у себя... Но эта работа Драгоманова была сравнительно мало известна в России. Кроме того, нам казалось, что вопрос о национальной культуре есть вопрос частный, который должен разрешиться на почве общей свободы...

На этой почве происходили у нас споры главным образом в обеденные часы. Украинцы называли общеруссов «беспочвенными радикалами».

Только проповедь родного языка и на родном языке придает задушевность и силу освободительной проповеди вообще... Пока не явился Николай Федорович Анненский, мне пришлось выдерживать главный натиск Андриевского и Долгополова. Анненский, отвечавший на вопрос о его родине — «Офицерская улица города Петербурга», — с большим одушевлением и горячностью поддерживал «космополитическую» точку зрения и с присущим ему юмором рассказывал о хлопотах одесситов и киевлян над «конспиративным словарем». Он знал о работе Драгоманова в Галиции. Но именно эта работа давала ему аргументы против «беспочвенного национализма». Сила драгомановской проповеди в Галиции истекала из возможности говорить с народом на родном языке... Но о чем говорить?.. Об его жизненных интересах, о борьбе за эти интересы. Итак, прежде всего нужна свобода политического слова... Остальное приложится.

Как это бывает обыкновенно, споры принимали иногда довольно горячий характер, и порой наша столовая обращалась в жужжащий улей. На насмешки над нашей беспочвенностью мы отвечали такими же указаниями на беспочвенность национализма. На упреки в национальном угнетении со стороны «русских» мы отвечали, что в угнетении участвуют одинаково и известные слои украинцев. На меня лично довольно яркое впечатление произвел один недавний для того времени эпизод. Когда я был студентом Петровской академии, мне пришлось ходить порой в московское жандармское управление, куда я носил разные вещи арестованному товарищу Царевскому. Однажды, когда я передал принесенное и дежурный офицер вышел из приемной, ко мне подошел из соседней комнаты другой жандармский офицер и сказал, что он услышал мою фамилию. Значит, я его земляк. И он стал расстроганным голосом говорить о нашей общей родине, о том, какая там «ковбаса та варенуха», сыпал украинскими словечками и поговорками... Я холодно слушал излияния «земляка», и теперь в спорах мы с Николаем Федоровичем ссылались на этот пример: вопрос не в «варенухах и ковбасе», а в том, чтобы не было жандармов с их деятельностью, — будь они украинцы или великороссы. А тогда была полоса, когда именно украинцы охотно вербовались в жандармскую службу...

Все эти споры, повторяю, были долгое время совершенно благодушны и носили скорее юмористический характер. Помню, например, как однажды Долгополов затеял отпраздновать «роковины» смерти Шевченка, для чего испросил разрешения Лаптева — прибавить к обычному скудному обеду кутью, которую взялся приготовить самолично с помощью прапорщика Верещагина. Эта кутья для нас была целым событием, и мы ждали ее с понятным нетерпением. Наконец прапорщик внес маленький столик, который поставил посредине комнаты, а Долгополов водрузил на него блюдо. Андриевский произнес речь о значении Шевченка, которую все мы прослушали с сочувственным вниманием. Шевченка знали многие, даже не понимавшие украинской речи. Дорошенко прочитал слабые стихи, в которых изъяснялось только, что «Шевченко народ свой любил». Наконец наступила очередь Долгополова. Он стал над блюдом, свесив свою длинную чуприну и держась

за стол обеими руками. Долго молчал, потом внезапно выбежал в коридор... Это было уже некоторым испытанием общего долготерпения. Долгополов вернулся, опять взялся за столик обеими руками, опять свесил свою чуприну, так что она едва не касалась кутьи, и... опять молчал...

— Bravo, bravo, начинайте, Нифонт Иванович, — раздались поощрительные крики.

Но Долгополов опять молчал, все ниже наклоняя голову... Наконец он начал:

— Ото бачите, добродии... Кутья... Батько Тарас... кутья... батько...

Бедняга не мог преодолеть волнения, заплакал и опять выбежал из комнаты.

Это было уже слишком. Терпение аудитории иссякло: все бросились с тарелками к кутье — и мигом она вся исчезла. Вернувшись в столовую, Долгополов укоризненно посмотрел на всех и сказал:

— Подлецы вы, подлецы, господа! И мне ничего не оставили...

Но тюрьма — все-таки тюрьма, и понемногу в споры о взаимной «беспочвенности» стала проникать нота раздражения.

Виноваты в этом были обе стороны, вернее — не виноват никто, кроме тюрьмы... Споры надоели и стали раздражать, как раздражает по временам все. У Долгополова был звонкий высокий тенор, и каждое утро, порой даже раньше верещагинского сигнала, из его камеры несло постоянно повторяемое двустипение:

Ой умру я, моя мамо,

Ой умру-у, о-о-ой умру...

Дальше песня не шла, но этот вопль повторялся так звонко и часто, что иной раз какой-нибудь нетерпеливый человек, ворочаясь на постели, говорил сердито:

— Черт возьми! Все только обещает, и все орет истошным голосом...

Это беспредметное взаимное раздражение нарастало и в спорах. Вообще национальные чувства всего легче порождают психологию беспредметного и неосмысленного раздражения, и это сказалось раз так заметно, что Андриевский, старый педагог, спохватился. Однажды, за обедом, он встал и произнес небольшой спич на тему из одного стихотворения Полонского, начинающегося словами: «Боже мой, боже мой, поздно приду я домой» и кончающегося моралью: «Есть у нас люди, общества нет». Это было сказано так кстати и так умно, что после этого следы взаимного раздражения исчезли, по крайней мере не проявлялись более ни в каких вспышках, и у меня осталось прекрасное воспоминание и об Андриевском, и о Долгополове, и обо всем этом периоде пребывания в В.П.Т.

IX. Отправка первой партии — Варшавяне-«пролетариатцы» и начало карьеры Плеве. — Коммунисты и аристократы

Наступила весна, вскрылась Волга, и мы стали подумывать о предстоящем путешествии, так как никаких результатов от посещения кн. Имеретинского не ждали. Наконец, помнится в начале мая, мы узнали, что вскоре должна выступить из В.П.Т. первая партия.

В эту партию я не попал и очень жалел об этом, так как в нее попал Николай Федорович Анненский. Тут же были назначены еще Волохов, Швецов, Андриевский и Павленков. Андриевский тотчас же заболел, потребовал медицинского освидетельствования, пустил в ход все свои связи в министерстве народного просвещения, где он справедливо считался одним из лучших педагогов, и ему удалось остаться сначала от первой партии, потом от второй, и наконец он совершенно реабилитировался и занял место инспектора в одной из провинциальных гимназий. Здоровье его было действительно сильно расстроено.

С Анненским и его семьей и я, и приезжавшие ко мне мать и сестры успели подружиться так крепко, что дружба эта осталась навсегда. Такие связи, возникающие в условиях общего заключения или общего посещения заключенных, бывают вообще прочны, и я мечтал, что, быть может, мы попадем с Анненским в одно место. Александра Никитишна, известная уже и тогда писательница для детей, решила следовать за мужем вместе с племянницей. Моя мать и сестры должны были уехать в Красноярск, к зятю, и мне казалось вероятным, что наши сдружившиеся семьи смогут устроиться где-нибудь вместе. Но список первой партии был объявлен, и я в него не попал.

В известный день с утра в тюрьму явился усиленный конвой. Назначенных к отправке вызывали сначала в контору, потом выстроили во дворе. Вещи после осмотра выносили на телеги. Какой-то чиновник из канцелярии тверского губернатора прочитал список, в котором объявлялись ссылаемым «основания» ссылки. Это были, по большей части слишком общие указания на известный высочайший указ, и мало кто этим интересовался. Арестанты посмеивались и разговаривали в окна с остающимися товарищами. Все мы, разумеется, приникли к решеткам, стараясь обменяться последними приветствиями. Мне кажется, что в этот раз на непривилегированных, которых в этой партии было мало, надели наручни. Это было уже прямое беззаконие, так как по закону кандалы надеваются только после лишения прав... Но мне вспоминается выразительная фигура Кожухова, который в последнюю минуту перед выступлением партии поднимал к нашим окнам скованные руки. Это могло возбудить протест, но тотчас же тюремные ворота раскрылись, и колонна двинулась со двора среди двух рядов солдат... Через короткое время она появилась на шоссе, пролегавшем мимо нашей тюрьмы. Помню особенное чувство, которое невольно шевельнулось в груди, точно эти случайно сведенные здесь люди были родные, и теперь мысль невольно бежала за ними в эту безвестную даль. Несколько кликов привета, несколько прощальных слов вдогонку, и колонна, выстроенная в порядке, двинулась по шоссе и скоро заволочлась пылью.

Мы сошли с окон в опостылевшую тюрьму. Особенно опустела наша большая камера. В ней не стало Анненского, Павленкова, Верещагина, Воло-

хова и Кожухова. Скоро, впрочем, она наполнилась вновь, и даже с излишком.

К нам стали присылать новых жильцов, и через короткое время число заключенных возросло до шестидесяти — семидесяти человек. Одно время в нашей тюрьме появилась даже маленькая девочка лет пяти, попавшая сюда, впрочем, ненадолго вместе с полькой-матерью. Это был очень милый, изящный ребенок, глядевший на новую обстановку широко открытыми голубыми глазками. В часы прогулок она бегала по двору, заглядывая во все углы, подходила к караульным солдатам, простодушно предлагая им вопросы на польском языке, а раз ее до такой степени заинтересовала сабля подпоручика Соловьева, которую он гремел по мостовой и на которую в ту минуту картинно опирался, с кем-то разговаривая, — что она подбежала сзади и с любопытством схватила ручонкой за это смертоносное оружие. Надо заметить, что этот подпоручик демонстрировал всячески свое нерасположение к нам и необыкновенную строгость: когда мы выходили на прогулку, он считал нужным раздавать при нас патроны караульным и громко наставлял солдат относительно неуклонного их применения. Сам был постоянно в боевой готовности и, почувствовав, что кто-то схватил сзади за его саблю, резко повернулся: перед ним стояла голубоглазая девочка, с любопытством глядя в упор на интересного дядю. Не только мы, но и солдаты ухмылялись при виде этой картины.

Значительный контингент новых заключенных составляли польские студенты, присланные из варшавской цитадели по делу так называемого «Пролетариата». Это было революционное тайное общество с марксистско-социалистическим направлением. Действовало оно среди городского рабочего населения. В Польше рабочий пролетариат был и в то время многочисленнее и, пожалуй, культурнее нашего. Освобождение крестьян, и особенно польское восстание 1863 года, с его контрибуциями и отнятием имений, сказалось на польских помещиках гораздо сильнее, чем в России. Отложился довольно значительный контингент юношей, не успевших закончить образования и вынужденных явной необходимостью взяться за физический труд. Таким именно интеллигентным рабочим был, между прочим, Вацлав Серошевский, писавший хорошие стихи и впоследствии получивший широкую известность в польской и русской литературе. Через этих своих бывших товарищей варшавские студенты легко проникали в рабочую среду с социалистической пропагандой. С другой стороны, у «пролетариатцев» были связи с молодой польской литературой. Я уже говорил о своей встрече в Починках с Поплавским. Он тоже был членом тайного общества и одновременно сотрудником газеты «Przegląd Tygodniowy» («Еженедельное обозрение»), в котором работали так называемые «позитивисты», в том числе Свентоховский и Сенкевич. К нам в В.П.Т. попали тоже сотрудники «Обозрения» — Венцковский, Геринг и, — кажется, некоторые другие.

Дело это обратило в свое время серьезное внимание, а с ним вместе привлек внимание высших сфер В. К. Плеве. Он был тогда скромным товарищем прокурора варшавской судебной палаты. Прокурором был, если па-

мять не изменяет мне относительно фамилии, некто Устимович, странный человек, совмещавший деятельность прокурора с полусектантским образом мыслей. Впоследствии, отказавшись от должности, на которой мог бы сделать блестящую карьеру, он стал издавать в одном из приволжских городов небольшую газету с полутолстовским направлением. Когда следствие по делу «пролетариатцев» было закончено и в министерство поступил обстоятельный доклад, Устимовичу предстояло получить за него награду. Но он, очевидно, не дорожил этой наградой и, отправившись в Петербург, разъяснил там, что, в сущности, все дело провел не он, а его молодой товарищ Плеве. Это и привлекло впервые благоволение бюрократического Олимпа к скромному и дотоле малоизвестному имени будущего министра.

Прибывшие к нам «пролетариатцы» много и с очевидным интересом рассказывали об этой новой звезде юридического мира. По их словам, Плеве был человек, несомненно, способный и умный, но бессовестный карьерист. Он любил, между прочим, вступать с допрашиваемыми в неофициальные разговоры принципиального характера, причем выставлял себя убежденным конституционалистом. «Для России, — говорил он, — давно наступила пора политической зрелости и конституционного правления. Это создало уже все просвещенное общество, сознает и государь. И только вы, господа революционеры, мешаете реформе. Как хотите — простое самолюбие не позволяет дать конституцию во время борьбы. Это походило бы на вынужденную уступку, а самодержавие еще не так слабо». Поэтому даже искренние либералы, например, и он, Плеве, считают нужным бороться с революцией, чтобы расчистить дорогу реформе...

Сначала успокоение, потом реформа.

Вся эта польская молодежь отличалась от русского студенчества большей внешней культурностью. Были тут и такие утонченные фигуры, которых было странно видеть в тюремной обстановке. Среди них выдавался молодой инженер Венцковский, живший в Петербурге и обращавший на себя внимание на сходках живостью речи, а впоследствии окончательно слившийся с петербургскими интеллигентными кругами. Помню еще Геринга, помещавшего в «Еженедельном обозрении» и, кажется, в «Glos»'e («Голосе») экономические статьи, затем двух братьев Грабовских, из которых старший был врачом. Он был теперь, пожалуй, самый старший из всего населения В.П.Т. В его широкой окладистой черной бороде уже мелькала красивая седина. Вспоминаю еще Абрамовича, Августовича, Гельперина, Рогальского, Мондштейна и другого врача, Даниловича. Все это оказались хорошие малые и отличные товарищи, и скоро мы сжились с ними. После этого жизнь в В.П.Т. пошла прежней колеей, пока... не возникло совершенно неожиданное столкновение, разделившее нашу мирную среду на «аристократов» и «демократов», или коммунистов.

Случилось это разделение на партии следующим образом. До тех пор отношения в В.П.Т. были простые, товарищеские. У нас были «привилегированные» и «непривилегированные», получавшие от казны меньший паек. Различие это, конечно, фактически не существовало: кухня была общая. Ко-

гда первой партии пришлось собираться в путь, мы постарались выяснить, сколько можно отложить в общую кассу, для того чтобы, приходя на место, каждый мог выйти из тюрьмы хотя бы с несколькими рублями. Для этого те, у кого было денег несколько больше среднего, добровольно определяли, сколько они могут отложить в общую кассу. Все это делалось по товарищески, просто и ни в ком никаких сомнений не возбуждало.

Когда пришло время собираться в путь следующей партии, мы тоже решили выяснить возможную наличность общей кассы. Я сел за стол с карандашом и бумагой и стал записывать. Сначала все шло, как и в прошлый раз: я вел запись, считая это самым простым делом, как вдруг случилась заминка.

Был у нас некто Рождественский, студент, кажется, из саратовских семинаристов. Он прибыл в В.П.Т. уже в последние дни и имел очень жалкий вид: все лицо его было покрыто какой-то экземой, которая, кажется, объяснялась истощением от долгого заключения и продолжительными разговорами в «клубе». В доме предварительного заключения можно было разговаривать из этажа в этаж по клозетным трубам, если особенным образом выплескать из резервуаров воду. «Клуб» был не особенно приятный, но некоторые любители проводили в разговорах целые дни, а Рождественский был, очевидно, человек очень общительный. Как бы то ни было, к нам он приехал весь в экземе, с большими темными очками на глазах, придававшими его пестрому лицу вид филина. Мы скоро полюбили этого добродушнейшего человека и почему-то прозвали его «Жертвой». Он сразу вошел в колею нашей вышневолоцкой жизни, участвовал охотно, но не особенно ловко в наших спартанских играх, причем мы все хохотали, глядя, как он при игре в чехарду усаживался на шею стоявшего в согнутом положении товарища. Зрелище действительно бывало «достойно», как говорится, «кисти художника»: согнутая фигура и на плечах у нее, судорожно в них вцепившись, восседал человек с лицом в экземе и с темными кругами на глазах.

И этому-то добродушнейшему и очень неглупому человеку суждено было нарушить надолго доброе согласие в нашей тюремной жизни. Когда до него дошла очередь заявления относительно доли участия его в общей кассе, он подошел к столу и сказал с каким-то особенным натиском:

— Я... жертвую рупь... Рупь на бедность!..

За ним вышел К-ский и тоже, ударив по столу рукой, повторил:

— И я жертвую на бедных один рупь...

Дело становилось ясно: речь шла о том, что добровольные сборы имеют унижительный характер «пожертвования». Откололась партия, считавшая, что вместо добровольных пожертвований нужно произвести принудительный раздел имущества. Все заявляют о том, сколько у кого денег, и затем «общество» производит раздел поровну.

Душой этого «переворота» был, очевидно, К-ский, тот самый строгий человек, который так немилостиво отнесся к нашему коллективному роману и которого подозревали в его цензурном запрещении. Лозунг казался правильным, и к нему сразу примкнули очень симпатичные люди вроде «Жерт-

вы», Пети Попова, Швецова и других. Рабочие сразу же стали на сторону «коммунистов», почувствовав себя оскорбленными «добровольными даяниями». Поляки в большинстве оказались «индивидуалистами» и отошли в лагерь «аристократов».

Я сначала не придавал значения этому «вопросу», поставленному «Жертвой». Он мне казался просто «бурей в стакане воды», которые так легко возникают в тюрьме. Скоро, однако, вскрылась более серьезная сторона дела. Ко мне пришел один из поляков и рассказал следующую историю. В Москве у него есть невеста, больная и слабая. Едва ли проживет долго. Еще в Варшаве они решили повенчаться. Это была свадьба не для счастливой жизни, а для спокойной, по возможности, смерти больного и измученного человека. Кружок ближайших товарищей собрал небольшие средства, назначенные не столько для Даниловича, сколько для его невесты, но они числятся его наличностью. Почему он должен отдавать их случайно собранным мерами правительства товарищам по заключению?.. Когда я вошел в камеру К-ского, где шло обсуждение вопроса с демократической точки зрения, и поставил, не называя имен, этот вопрос, — кое-кто задумался, а К-ский сказал решительно:

— Пусть изложит это перед обществом. Общество рассудит и, может быть, согласится с его просьбой.

Это была явная нелепость, и поляки прямо возмутились. Они считают данное «общество» товарищами только по заключению и готовы сделать, что в состоянии, в этих пределах. Но у каждого из них есть на воле и в других тюрьмах гораздо более крепкие связи, которых они не намерены отдавать на суд случайного состава данной тюрьмы...

С этих пор мирная дотоле жизнь В.П.Т. была отравлена. Люди, до тех пор считавшие себя товарищами, оказались во «враждебных партиях». Помню такой случай. Был в нашей среде рабочий Девятников. Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд он походил на медведя, и, когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем, передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай/Однако, несмотря на фигуру медведя, этот человек был нервен, как слабый ребенок, и преувеличенно реагировал на все. Сначала его приводила в восторг атмосфера простого товарищества, господствовавшая в В.П.Т. Он старался пополнить свое образование и просил несколько человек, в том числе и меня, заняться с ним кое-какими предметами. Я попросил Ипполита Павловича позволить нам заниматься в ранние часы, еще до проверки, в пустой столовой. Он так обрадовался этому, что в первый же раз, когда нас выпустили из разных камер в столовую, бросился мне на шею со слезами на глазах. После того как в нашем мирном строе произошел переворот, Девятников стал коммунистом, а я, возмущенный притязаниями К-ского, решительно отошел к индивидуалистам-аристократам. В первое же после этого утро Девятников явился на урок совершенно расстроенный: он не мог при-

мириться с тем, что мы принадлежим к разным партиям, и заниматься даже нейтральными вопросами элементарной арифметики стало трудно.

Затем начались дразги среди самих «коммунистов». Один из рабочих явился ко мне раздраженный и заявил, что среди них идет такой разговор: К-ский является главой их партии. Между тем некоторым товарищам известно, что в воротнике его халата зашита семьдесят пять рублей, о которых он не заявил обществу. Эта история вызвала много дурных чувств и гадких подозрений. К-ский объяснил, что деньги эти доставлены лично ему на случай побега. И это, конечно, правда. Но противники замечали, что «случай побега» — это именно такой случай, в котором товарищи должны иметь право голоса и общего решения. На это К-ский ответил прямой угрозой побить всякого, кто осмелится возбудить этот вопрос.

Вообще об этом периоде нашего пребывания в В.П.Т. у меня сохранилось воспоминание далеко не столь безмятежное, как о первом. Впрочем, это сглаживается многими интересными знакомствами и тем, что история нашего «коммунизма» после инцидента с К-ским стала постепенно отступать на задний план. Впрочем, она держалась даже в пути и только уже на одном из сибирских этапов расплылась в одном благодушно-комическом эпизоде.

Х. Политическая партия в пути. — История крестьянина Курицына. — Меня выбирают старостой, и я узнаю точно, за что меня высылают в Якутскую область

Наконец пришла и наша очередь. Кажется, приблизительно во второй половине июля 1879 года партия двинулась из В.П.Т. Я был назначен в эту партию. Все происходило в том же порядке, как и в первый раз. Губернаторский чиновник монотонно читал список с фамилиями и с перечислением указов... Мы более были заняты разговорами с остающимися товарищами, и я как-то даже не поинтересовался прислушаться, за что именно меня высылают. Ну конечно, сугубая неблагонадежность и особенно вредный образ мыслей... Не интересно. Но когда эта процедура была кончена, один из товарищей подошел ко мне и сказал:

— Послушайте... Разве вы бежали с места ссылки? Почему же вы нам не рассказывали об этом?

Я удивился:

— Откуда вы это взяли?

— Сейчас чиновник прочитал.

— Это не может быть... Вы, наверное, ошибаетесь. Среди товарищей начался спор. Некоторые из них утверждали, что тоже слышали нечто в этом роде, но что это относилось к кому-то другому. Оставалось выяснить вопрос из первоисточника, но когда я протолкался к столику, где чиновник укладывал в портфель бумаги, он на мой вопрос ответил торопливо:

— Я уже читал.

И, спешно окончив укладку, он скрылся среди кучки караульных офицеров и другого начальства. Товарищи возбужденно зашумели. Легко

могла возникнуть вспышка, если бы я настаивал. Но я подумал, что тут, наверное, какое-нибудь недоразумение, и — махнул рукой... Наверное, не за побег, а за что именно — не все ли равно! Когда мы пришли на вокзал (около двух верст) и сели в арестантский вагон с решетками, этот эпизод испарился из моей головы, и мое внимание устремилось навстречу новым впечатлениям.

По железной дороге нас привезли в Нижний Новгород, без остановки в Москве, и посадили сразу на арестантскую баржу. Отсюда до Перми путь лежал по Волге и Каме. Мы уже знали из писем прежде уехавших товарищей, что это самая приятная часть пути: арестантская баржа, буксируемая небольшим буксиро-пассажирским пароходом Курбатова, тихо плывет между живописными берегами Волги и Камы, и даже больные поправляются после тюрьмы.

Отправка предстояла на следующий день: к нам должны были присоединить несколько человек из Москвы и из Мценска, а поезда оттуда приходили, помнится, ранним утром. Войдя на баржу, мы сразу обратили внимание на молодого человека, одетого в штатское платье и белый картуз, на котором при каждом движении звенели ножные кандалы. Это оказался Иван Иванович Папин, осужденный по одному из ранних процессов, вместе с Гамовым, Дмоховским и другими.

При этом имени в моей памяти встал один эпизод из первых годов моей студенческой жизни. Одно время наша компания сильно увлеклась театром. В тот сезон в Большой опере пели одновременно Патти и Нильсон. Места все были абонированы, оставалась только галерка. Чтобы получить билеты на эти несколько десятков мест, приходилось простаивать у театрального подъезда целые ночи. Несмотря на это неудобство и на скудость бюджета, мы все-таки часто доставали дешевые билеты. Подъезд, куда надо было являться накануне, часов с одиннадцати вечера, выходил на Театральную площадь, к стороне Офицерской улицы. Отсюда были видны за каналом темные ворота Литовского тюремного замка. Компания завсегдаев вся перезнакомилась, установились свои обычаи, и время ожидания сокращалось шутками и весельем. Однажды, в ранние утренние сумерки, ворота Литовского замка вдруг распахнулись, и из них выехал тюремный возок, окруженный отрядом жандармов. Они вскачь пронеслись мимо нас и исчезли за углом театра. Через некоторое время подошел какой-то никому не знакомый студент и сообщил нам, что это провезли политических, приговоренных по последнему процессу. Он назвал несколько фамилий, в том числе Папина. Их повезли на Конную площадь, где над ними теперь производится на плахе процедура лишения прав.

Тогда еще проделывалась над осужденными дворянами эта церемония с эшафотом и с палачом, ломающим шпаги над головами осужденных. Мне ярко запомнилось мглистое и слякотное петербургское утро и эта черная карета, окруженная скачущими всадниками. Даже мои театральные увлечения с этого утра стали проходить...

Папин провел несколько лет в Белгородской централке и теперь стоял среди нас. Несмотря на то, что, прежде чем отправить на поселение в Восточную Сибирь, его продержали несколько месяцев в мценской тюрьме, в сравнительно свободном режиме, у него еще сохранились следы многолетнего тяжкого заключения. Лицо было какое-то землистое, и он странно оглядывался на толпу, с любопытством его окружавшую. Мы тоже рассматривали его, точно выходца из другого мира.

Вечером нашу баржу подвели к пристани Курбатова и поставили рядом с буксиро-пассажирским пароходом. Нас заперли в трюме. Посредине довольно большого помещения был проход, отгороженный проволочными решетками. В этом проходе стояли караульные жандармы, которые могли видеть все, что мы делали. Маленькие круглые люки отворялись для освежения воздуха. Я выглянул в один из них, чтобы поглядеть на Волгу. Но реки не было видно. О борт с нашей баржой стоял пароход, и прямо против нашего люка находилось такое же круглое оконце пассажирской каюты. Какая-то семья собралась пить чай. В окно выглянула маленькая кудрявая девочка, которую, видимо, заинтересовала близость наших окон с выглядывавшими в них арестантами.

— Мамочка, мама!.. — зашебетала девочка. Красивая молодая дама подошла к окну, взглянула в него и тотчас же брезгливо задернула занавеску. Наше близкое соседство показалось ей, должно быть, соблазнительным, а может быть, и опасным.

Рано утром наша баржа плавно потянулась на буксире. После проверки нас выпустили на палубу, и, когда баржа обогнула гору и город скрылся из виду, занавески решетчатого тента были раздвинуты, и мы могли беспрепятственно любоваться чудесной панорамой волжских берегов. Так началось наше плавание, о котором, я уверен, многие и до сих пор вспоминают с удовольствием. Погода была чудесная, и мы целые дни проводили на палубе, знакомясь с новоприбывшими. К двум из наших товарищей присоединились невесты, сидевшие в московской тюрьме. Одна была женщина не первой молодости, совершенно больная и разбитая, другая — совсем молоденькая девушка, тоже худенькая и бледная, с прекрасными глубокими черными глазами, сохранившими еще детское выражение. К нам присоединили еще целую партию из мценской тюрьмы, среди которых помню И. П. Белоконского, впоследствии довольно известного писателя, а тогда сотрудника одесских газет, а также каторжан Коленкину и Бердникова, молодого человека, очень полного, побрякивавшего, как и Папин, ножными кандалами.

Общее внимание вызвала еще одна характерная фигура. Это был простой крестьянин, присоединенный тоже в Нижнем, куда, впрочем, он был прислан к отходу нашей партии, из Тверской губернии. Он долгое время оглядывался на нас серыми простодушными глазами, в которых можно было заметить недоумение и страх: общество, видимо, казалось ему чуждым и непривычным. Нам тоже казалась странной эта нетронутая-деревенская фигура, попавшая неизвестно почему в политическую партию. Первое время он всех

чуждался, но потом, заметив, что среди нас есть и рабочие, то есть свой брат, разговорился кое с кем из них и простодушно рассказал свою историю.

История была странная. Он был коренной крестьянин Тверской губернии, занимавшийся, кроме земледелия, еще торговлей. Из него, по-видимому, начинал выработываться деревенский кулачок, но он не отказывался еще от земли и вообще разделял все интересы однодеревенцев. У крестьян его деревни шла земельная тяжба с помещиком, и Курицын принимал в ней горячее участие. Я выше уже упоминал о настроении, которое водворялось в некоторых местностях в связи с покушениями на царя. В Петербурге и Саратове рабочие в день царского юбилея кидались на интеллигенцию и вообще на господ. В Тверской губернии толпа крестьян гналась за исправником. Вообще тогдашнее верноподданство обнаруживало некоторый уклон к своего рода пугачевщине: за царя против господ, которые хотят его извести. Крестьяне того села, в котором жил Курицын, решили, что лучшим их ходом в тяжбе против помещика будет теперь политический донос, который и был сострянпан в лавочке Курицына и при его участии: к их помещику приезжал, дескать, какой-то незнакомец, они таинственно запирались в кабинете, долго шептались, и затем последовало покушение. Время было тревожное. К удовольствию мужиков, к помещику нагрянули жандармы, произвели обыск, и дело казалось выигранным. Но донос коснулся сильного человека, кажется даже родственника князя Долгорукова, тогдашнего московского генерал-губернатора. Наивная подкладка крестьянской стряпни скоро разъяснилась. Некоторых крестьян арестовали, а Курицына, явного зачинщика, решили сослать в Сибирь, как с «политического преступника».

Все это он простодушнейшим образом рассказывал рабочим, рассчитывая на их полное сочувствие.

— Видите... Помещик наш пошел супротив царя. Мы, значит, крестьяне, царя пожалели, донесли... А начальство, смотри ты, вместо его да упекло меня. Известное дело: нет у царя верных слуг.

После этого многие стали сторониться этого верноподданного доносчика, но меня заинтересовало его мировоззрение. Оно имело общую почву с знакомыми мне ходаками, но было так далеко по конечным выводам. Я решил присмотреться к Курицыну пристальнее.

По Каме мы доехали до Перми. Здесь прямо с баржи нас усадили в вагоны Уральской железной дороги и привезли в Екатеринбург. Отсюда до Тюмени нас везли на подводах по двое, предоставив свободно выбирать себе путевых товарищей. Я выбрал себе в товарищи Курицына, которого другие избегали. Он, по-видимому, был этим тронут и охотно согласился.

Наш поезд растянулся длинной вереницей по широкому сибирскому тракту. Мы ехали между волнующимися, еще не созревшими хлебами. Курицын смотрел на все широко открытыми глазами, с чисто ребяческим любопытством, направленным, конечно, на самые интересные для мужика предметы. С нами в телеге ехали два вооруженных конвойных солдата и ямщик-крестьянин. Курицын то и дело обращался к последнему:

— Чья это земля?.. А вот эта?.. А эта?.. Ямщик отвечал неизменно:

— Чья!.. Известно, крестьянская...

— Да где же у вас помещичьи земли? — спросил с удивлением Курицын.

— Каки помещики?.. У нас их сроду не бывало.

Курицын оглянулся на меня с изумлением и даже хлопнул себя по колену...

— Слышал ты это, а?.. Ах, братец мой, числивые вы какие... А у нас их точно черт н — ал... Или бы нес в дырявом мешке да просыпал. Вишь ты, у нас их густо, у вас пусто. Числивые вы! А еще говорят: Сибирь!

Сибирь стала ему казаться не такой страшной. Он принялся даже мечтать: приедет он на место, выпишет к себе жену, Матрену Ивановну...

— Эх, братец! — говорил он мне доверчивым тоном. — Погляжу я на ваших баб, на политических. Жидкой народ, посмотреть не на что! То ли дело моя Матрена Ивановна... Вот это баба! А уж работница, скажу тебе. Куда хошь ее поверни... Что в поле жать, что в лавочке торговать, на все годится... Достаток у нас есть: снимем землицы, лавочку откроем... Что ты думаешь, а?.. И слышь — как устроимся, напишу тебе... Просись и ты к нам, ей-богу. Полюбился ты мне. В подручные тебя возьму, заживем вместе...

Я смеялся, но оказалось, что Курицын говорил серьезно. Месяца четыре спустя я получил через приказ о ссыльных письмо от него с известием, что он устроился где-то в Забайкалье. Места отличные, земли довольно... И он по приятельству зовет меня к себе, как обещал тогда в дороге, и даже невесту мне присмотрел...

Вообще, в этом этапном пути на широком тракте, между буйными хлебными всходами, Курицын распустился и расцвел. От его недавней запуганности не осталось и следа. Он шутил, запевал песни, болтал о «числивых сибирских местах» и несчастливой Расее, сыпал прибаутками, так что наша тележка была, пожалуй, самая веселая во всем поезде...

Так подъехали мы к тому месту, где на грани стоит каменный столб с гербом, в одну сторону Пермской губернии, в другую — Тобольской. Это и есть начало Сибири. Здесь наш длинный кортеж остановился. У всех зашевелилось в душе особое чувство, как будто эта грань резко пролегла по каждому сердцу. Женщины сошли с телег и стали собирать у дороги цветы. Кое-кто захватывал «горсточку родной земли», вообще все казались несколько растроганными.

Не помню точно, здесь ли, или на другой такой же остановке по тракту — с Курицыным случилось небольшое приключение, которое могло кончиться трагически. Он тоже сошел с телеги и стал оглядываться по сторонам. Наш поезд стоял, вытянувшись по тракту, обведенному с двух сторон канавками. Невдалеке виднелся перелесок, за которым начинался лесок погуще. И вдруг Курицын, весело улыбаясь, бросился бегом, перескочил через канаву, и его фигура замелькала между редкими стволами и кустарником.

Это было так неожиданно, что мы не могли понять его поступка. Один из конвойных солдат соскочил на землю и торопливо вскинул ружье. Мечтам бедняги о «числивой жизни» легко мог прийти неожиданный конец,

но вдруг наш беглец скинул с себя ремень и сделал на бегу несколько телодвижений, которые выяснили его намерения в самом миролюбивом смысле. Нам удалось удержать руку конвойного. Когда Курицыну рассказали, какой опасности он подвергался, он удивленно перекрестился.

— Неуж выстрелил бы, чудак! — сказал он конвойному. — А ведь мне и ни к чему...

— Караульная служба, известно... — ответил конвойный. — Зачем побежал?.. Нешто полагается арестанту бегать, как зайцу...

Двигались мы довольно медленно, на ночевки останавливались на этапах... После некоторых переговоров нашего старосты, которым был избран для нашей вышневолоцкой партии Грабовский, нам разрешили однажды ночевать на этапном дворике. Помню теплую ночь и луну, глядевшую с высокого неба... Молодые супруги, которых у нас было несколько пар, долго сидели, тихо воркуя, когда остальные спали...

Так мы приехали в Тюмень. В этом городе находился знаменитый «приказ о ссыльных», распределявший ссыльных по местам Западной Сибири. Нас подвезли на площадь перед большой тюрьмой, и здесь мы имели удовольствие увидеть часть нашей первой партии: из-за решеток выглянул сначала прапорщик Верещагин, потом Кожухов, Швецов, Анненский. Между площадью и тюрьмой начался оживленный обмен приветствий и разговоров, в котором скоро приняла участие и посторонняя толпа. Был, помнится, праздник и базарный день... Скоро, однако, оказалось, что нас здесь не остановят. Отобрали человек двадцать, оставляемых в Западной Сибири, а остальных на пристани уже ждала баржа, в которой нам предстояло по Туре спуститься в Тобол и Иртыш. Миновав Тобольск, наша баржа стала подыматься на север по Иртышу, и чудесные виды Волги и Камы сменили для нас унылые берега сибирских рек с редкими поселениями. Здесь я отдался воспоминаниям и написал очерк «Ненастоящий город», в котором, сильно подражая Успенскому, описывал Глазов. Очерк этот был напечатан в журнале «Слово», но когда я попытался восстановить также некоторые починковские впечатления и впоследствии отослал их в Петербург, то из редакции ответили, что это могло бы быть напечатано только за границей, в нелегальных газетах.

У большого села Самарова мы достигли самого северного пункта, повернули на юг по Оби и проплыли мимо Нарыма и Сургута. Обь еще неприветливее и пустынное Иртыша. На десятки верст порой тянется тундра, покрытая бледным тальником. Соответственно с этим и настроение становилось тусклее и раздраженнее. В партии возникли неудовольствия между товарищами и старостой. Грабовский был очень хороший человек, но он плохо понимал настроение молодежи, озлобленной и раздраженной. Ему казалось, что дело просто: нас везут, и мы должны подчиниться, по возможности избегая столкновений. Но в этих случаях действует сложная и двусторонняя психология. На нашей барже, кроме политических, следовала также уголовная партия. Нас сопровождали жандармы, уголовных — простые конвойные. Начальником последнего конвоя был офицер конвойной команды, и сопровож-

давший нас полковник Владимиров, как это бывает всегда, опасался с его стороны доноса на распущенность политической партии. Мы подолгу оставались на палубе, не прекращали пения на пристанях, и порой наши песни имели не совсем цензурный характер. Владимиров требовал большого подчинения, и Грабовский, не довольствуясь передачей этих требований, убеждал и с своей стороны в необходимости подчинения. По большей части он был прав, но так как порой его уговоры носили характер наставления старшего по возрасту, а порой и педагога, и притом их могли слышать жандармы, то это раздражало и волновало партию. Все чувствовали, что если при этих условиях уступить раз, то за этой уступкой последуют дальнейшие требования, и этому не будет конца, пока субординация не достигнет степени безропотного подчинения даже нелепым требованиям.

С другой стороны, в массе (а нас было около сотни) всегда найдется известный контингент людей слишком раздраженных или бестактных, которые обостряют отношения в другую сторону. У нас было таких несколько человек, в том числе некто Баранов, портняжный подмастерье из Петербурга или Москвы. Небольшого роста, коренастый, с горячими черными глазами, — он находился в настроении постоянного кипения. Еще при приеме партии на баржу, на Волге, у нас сделали довольно поверхностный просмотр вещей, но при этом осталось многое, запрещенное арестантскими правилами: какой-нибудь ножик, карандаш, записная книжка и т. д. У Барабанова был нож и ножницы, которыми он порой работал. Ими, конечно, приходилось пользоваться так, чтобы это не кидалось в глаза. Но Баранов выносил все свои орудия на палубу и демонстративно раскладывал их вокруг себя, что, конечно, вызывало в конвойных раздражение и соблазн.

Кое-как шло до Сибири, хотя у Грабовского часто срывались желчные реплики. Выходило так, что на одной стороне была вся наша партия, в общем все-таки не одобрявшая выходок Баранова и других людей с таким же настроением, но оказывавшая упорное сопротивление полному подчинению, на другой — Владимиров и наш староста. Отношения обострились до того, что потерявший терпение Владимиров объявил Грабовскому, что он произведет новый осмотр вещей, и Грабовский предупредил об этом партию.

Это вызвало такое волнение, что многие стали готовиться к отпору. Помню, как поручик Соловьев, человек необыкновенно раздражительный, тотчас же снял с себя длинные сапоги, готовясь пустить их в ход в качестве оборонительного оружия. Дело могло принять плохой оборот: многие, не сочувствовавшие вызывающему образу действий Баранова, просто из товарищества примкнули бы к самым крайним мерам сопротивления. Конвой мог пустить в ход оружие.

В это время Петя Попов и еще несколько человек пришли ко мне и сказали, что Грабовский отказывается и партия хочет выбрать старостой меня. Я не счел себя вправе уклониться. Разговор шел в стороне, и я попросил передать товарищам, что, в общем, я скорее на стороне Грабовского и не могу одобрить вызывающих демонстраций, но, если и с этой оговоркой меня

выберут, я не откажусь. Меня выбрали единодушно, и я понял, что огромное большинство, в сущности, против бесполезных вызовов.

На следующий день мы подошли к какой-то пристани, и закупки делал уже я. Владимиров, которому пришлось выдавать деньги, принял меня очень холодно. Я держался с ним так же. Когда, после отхода от пристани, он сказал, что намерен произвести обыск и чтобы я передал об этом товарищам, я сказал, что передам, но не ручаюсь, что обыск сойдет благополучно. Обыска Владимиров не произвел ни в этот день, ни на другой. А в это время большинство товарищей потребовали у Баранова, чтобы он прекратил демонстрации. Это так раздражило его, что он подбежал к жандарму, помахал ножом перед самым его носом и — бросил нож в воду.

Волнение понемногу улеглось. С Владимировым у меня по-прежнему были очень холодные отношения, и я довольно резко отклонял его завоевательные попытки. Но, с другой стороны, он заметил также, что вызывающие выходы прекратились. Установился известный режим, не стеснительный для нас, но и не грозивший столкновением. Он почувствовал известный предел, у которого следовало остановиться, и не стремился преступить за него.

Тогда и его отношение ко мне стало меняться. Однажды, когда опять мне приходилось сводить с ним счеты и я делал это все тем же официальным тоном, он вдруг откинулся на своем стуле и неожиданно для меня сказал:

— Ну вот... все хорошо... А я, признаться, очень вас боялся...

— Почему?..

— Выбрали вас вместо Грабовского, и я ждал столкновений... К тому же о вас ужасные отзывы вятской администрации.

Мне вдруг вспомнился эпизод с «причиной высылки», и я сказал:

— Послушайте... Не можете ли вы показать мне статейный список?.. За что именно я высылаюсь?..

— Этого никак не могу. Не имею права.

Я не настаивал. Но на одной из следующих остановок он опять заговорил об этом:

— Если вы дадите мне слово, что никому не скажете, то...

Я дал слово, и он подал мне, очевидно заранее приготовленный, статейный список. Я взглянул и... изменился в лице. В списке действительно было написано: «Высылается в Якутскую область на основании высочайшего повеления 8 августа 1878 года за побег с места ссылки в Вятской губернии».

Я не думал, что эта гнусная ложь вятской администрации произведет на меня такое действие.

— Если поблизости есть телеграф, — сказал я Владимирову, — то я должен сейчас же телеграфировать министру внутренних дел. Это гнусный подлог. Я ниоткуда не бежал.

— Да, конечно, конечно... — заговорил смущенно Владимиров. — Но... Я не имел права показывать вам статейный список, а вы дали слово...

— Ну хорошо... Но скажите, что же мне делать?..

— Когда мы приедем в Иркутск, подайте просьбу, чтобы вам дали выписку из статейного списка.

— И вы думаете, что просьбу удовлетворят?.. Скажите по совести...

— По совести?.. Нет, вероятно, откажут... А вот по прибытии на место...

— То есть в Якутскую область?.. Спасибо за совет. Слово свое я, конечно, сдержу. Но понимаете ли вы, полковник, как много вы препровождаете людей, над которыми совершены величайшие подлости... И как трудно требовать от нас покорного подчинения вашим «законным требованиям».

Жандарм казался смущенным. Как читатель увидит ниже, мне скоро пришлось с ним расстаться, но впоследствии я слышал, что всю остальную дорогу до Иркутска он держал себя очень корректно и никаких больше столкновений у него с партией не выходило.

Теперь мы шли по Оби на юг, приближаясь к Томску. Стало теплее, берега разнообразнее, настроение веселее. Мне остается досказать о наших «партиях» — то есть «коммунистах и аристократах». В Томске предстояло новое разделение: кое-кто мог остаться в Томской губернии. Поэтому нужно было перед приходом в Томск разделить по рукам общую кассу. У прибывших из Мценска такого разделения не было. У нас тоже рознь, вызванная этим «переворотом», как-то сгладилась. В качестве старосты вышневолочан я принимал участие в делах как той, так и другой части.

Однажды Петя Попов пришел ко мне и стал восторгаться одной из невест, примкнувших к нам в Москве. Это была очень изящная полечка, существо хрупкое, с почти детским лицом и большими глубокими глазами. Попов, кажется, был влюбчив и теперь часто выражал свой восторг: «Посмотрите, какие у нее глаза. Это один восторг! И лицо юного ангела». Когда у нее спросили, к какой «партии» она хочет присоединиться — к демократам или аристократам, — она ответила без колебаний: «Конечно, к демократам!» — «Это она без должного разумения, — говорил Попов. — Ведь это совершенный ангелочек... Ах, какая прелесть!» И на этот раз трудно было разобрать, серьезно ли он восхищается или просто смеется. Всего вернее, что было и то и другое...

Перед прибытием в Томск, когда приходилось приступить к разделу общей кассы, Петя Попов торопливо пришел ко мне и, почти захлебываясь от веселого оживления, сказал:

— Скорее, пожалуйста, скорее... Пойдем. Спросите у М-н, куда она теперь причислит себя.

Мы пошли. Я предложил вопрос и объяснил практические последствия, вытекающие из принадлежности к той или другой партии. Муж устранился, предоставляя решение жене; у них было около сотни рублей. Поняв, что ей придется отдать их в общую кассу, молоденькая женщина задумалась, подняв кверху свои чудесные глаза... Попов следил за нею восхищенным взглядом.

— Знаете, — сказала она наконец. — Это прекрасно в теории, но... на практике, право, неудобно.

Лицо Попова выражало полное восхищение. Он составил себе известное представление и был в восторге, что оно оправдалось. Окружающие

тоже благодушно улыбались. Это было последнее мое впечатление от нашего коммунизма... Дальнейших эпизодов нашего разделения на партии я уже не узнал... Через два-три дня после этого мы прибыли в Томск.